



ЮНОСТЬ



№5/2020 16+

5



ВАСИЛИЙ
АВЧЕНКО,
СТР. 6

ЮНОСТЬ



УЧРЕДИТЕЛЬ:
АНП «Реданция журнала
«Юность»»

«ЮНОСТЬ» —
зарегистрированный
товарный знак.
Правообладатель —
АНП «Реданция журнала
«Юность»»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Сергей Александрович
Шаргунов

Выпуск издания
осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям

Лиц. Минпечати №112.
ISSN 0132-2036

Наша почта:
unost-org@mail.ru

Наш сайт:
unost.org
юность.рф
Мы в социальных сетях:
facebook.com/unost
vk.com/zhurnaliunost
Instagram/@zhurnaliunost

Адрес редакции:
125047, Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1

Для почтовых отправок:
125047, Москва,
а/я 182, «Юность»

Тел.: +7 (499) 251-31-22,
+7 (499) 250-40-74,
+7 (495) 250-40-95

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:

Ильдар Абузяров
Зоя Богуславская
Алексей Варламов
Анна Гедымин
Сергей Гловлюк
Борис Евсеев
Тамара Жирмунская
Елена Исаева
Владимир Ностров
Нина Краснова
Татьяна Нузовлева
Евгений Лесин
Юрий Полянов
Георгий Прякин
Елена Сазанович
Александр Соколов
Борис Тарасов
Елена Тахо-Годи
Игорь Шайтанов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей Шаргунов
Вячеслав Ионовалов
Яна Нухлиева
Евгений Сафронов
Татьяна Соловьева
Светлана Шипицина

РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР

Юлия Сысоева
РАЗРАБОТКА МАШЕТА
Наталья Агапова
ВЕРСТКА

Наталья Горяченнова
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Антон Шипицин
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Людмила Литвинова

Подписные индексы:
каталог «Почта России» —
П1972,
объединенный каталог
«Пресса России» — 71120

Отпечатано
в ООО «Типография
«Миттель пресс»

Москва,
ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс:
+7 (495) 619-08-30,
+7 (495) 647-01-89
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3 500 экз.
Формат: 60x84/8
Заказ №



COMPANY BY ANA4220

«ЮНОСТЬ»
© С. Красауснас. 1962 г.

На 1-й странице обложки
рисунок
Александра Петринова

НАША ПОБЕДА

- 6 ВАСИЛИЙ АВЧЕНКО
 ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
- 10 ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН
 САМАЯ НЕ ДОШЕДШАЯ ДО НАС
 КНИГА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
- 12 СЕРГЕЙ КУБРИН
 САМАЯ ПРОСТАЯ КНИГА О ВОЙНЕ
- 14 АНАТОЛИЙ МИТЯЕВ
 МОЯ ЖИЗНЬ НА ЭТОМ СВЕТЕ
- 30 АСЯ ПЕТРОВА
 САМАЯ РЕАЛЬНАЯ КНИГА
 О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
- 32 ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА
 САМЫЕ ДЕТСКИЕ КНИГИ О ВОЙНЕ
- 35 АНДРЕЙ РУБАНОВ
 САМАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ КНИГА О ВОЙНЕ
- 38 ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ
 САМАЯ ЛЕТАЮЩАЯ КНИГА О ВОЙНЕ

БЫЛОЕ И ДУМЫ

- 42 СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ
 «СЛОВО ДОЛЖНО БЫТЬ КРАСНО УКРАШЕННОЕ»
 ПОКА СОЛДАТ ЖИВ

ПОЭЗИЯ

- 50 МАНСИМ АМЕЛИН
- 52 ОЛЕГ ЛЕНМАНОВ
- 54 СЕРГЕЙ РЫБНИН
- 60 ОЛЬГА АЛТУХОВА
- 65 ТИХОН СИНИЦЫН

- 66 МАКСИМ МАТНОВСКИЙ
- 69 СТИХИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КАЗАХСТАНЕ

ПРОЗА

- 76 ЛЕОНИД БЕЖИН
 ДЖАН БАНУ
- 85 МАРАТ ГИЗАТУЛИН
 ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙ
 «Я УВЛЕКАЮСЯ СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКОЙ...»
- 92 НАТАЛЬЯ КАЛИННИКОВА
 МОЯ СКРЫТАЯ СУПЕРСИЛА
- 98 ПЕТР МАТЮНОВ
 СКАЗАНИЯ МИКРОРАЙОНА ЮЖНЫЙ
- 101 АГЛАЯ НАБАТНИКОВА
 ЖЕНЩИНАМ-ЛЬВАМ ИДЕТ КРАСНЫЙ
- 108 ВАЛЕРИЙ ПЕТНОВ
 СКОЛЬЗКАЯ РЫБА ДЕТСТВА

ТАВРИДА

- 118 МАРИЯ ШУШПАНОВА
 ТОТ, ЧЬЕГО ИМЕНИ НИКТО НЕ ЗНАЛ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

- 124 ЮРИЙ ЛЕПСКИЙ, ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА
 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИОСИФА БРОДСКОГО

ЗОИЛ

- 131 ДАРЬЯ ЛЕБЕДЕВА
 С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЭТА

| Юность № 5
| Май 2020

| Тема номера:
| Наша победа

НАША ПОБЕДА



рованном человеке» (2019, в соавторстве с Алексеем Норовашню). Лауреат Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В.Н. Арсеньева. Книги попадали в короткие списки премий «Национальный бестселлер», «НОС», длинные списки премий «Большая книга» и «Святая Поляна».

* * *

Snipe по-английски – всего лишь «бекас».

Снайперское движение возникло на Первой мировой.

Войска стали переходить на обмундирование защитного цвета, на передовой запретили выполнять воинское приветствие – охота шла в первую очередь за офицерами. Снайперам мы обязаны мужским суеверием (столь же наивным, как слово «крайний» вместо «последний»), согласно которому нельзя троим подряд прикуривать от одной спички или зажигалки.

Самым результативным снайпером Первой мировой стал Фрэнсис Пегамагабо – канадский индеец племени оджибве. На его счету – 378 убитых. После войны боролся – уже мирными методами – за права индейцев.

В России еще в 1914 году испытали оптический прицел Герца с трехлинейной винтовкой Мосина, но по-настоящему снайперское движение развернулось уже в СССР.

По линии Осоавиахима и движения ГТО развивался массовый стрелковый спорт. В 1931 году на вооружение поступил снайперский вариант винтовки Мосина. Несколько лет спустя появились снайперские модификации автоматической винтовки Симона и самозарядной винтовки Токарева.

Рекордсменами по «настрелу» на Второй мировой стали именно советские снайперы. Боевой счет как минимум 17 из них превысил 400 человек (у самого результативного немецкого снайпера Маттиаса Хетценуэра – 345).

* * *

Неверно было бы утверждать, что лучшими снайперами были исключительно таежные охотники.

Ворошиловские стрелки тоже стреляли отлично.

Николай Галушкин (личный счет – 418 врагов) еще в детском доме посещал стрелковый кружок.

Владимир Пчелинцев (456) занимался стрельбой, брал призы, в 1940-м стал мастером спорта СССР.

Людмила Павличенко, занимавшаяся на истфаке планерным и стрелковым спортом, стала самым результативным снайпером среди женщин (309).

И все-таки охотники Зауралья сыграли свою, особую роль. Они не занимались на курсах Осоавиахима, не знали терминов «превышение траектории», «депривация», «угловая минута», не умели применять синусы и косинусы, но стреляли без промаха. Знали, как выслеживать зверя, маскироваться, ориенти-

роваться на местности, умели бесшумно подкрадываться, выбирать позицию, могли часами неподвижно лежать в засаде, не обращая внимания на мороз, голод, боль... В их лице Красная армия получала подоготовленных всей предыдущей жизнью бойцов.

За это им позволяли некоторые вольности. Они не были первыми в строевой подготовке, носили неуставную одежду из оленьих шкур (нанаяц Торим Бельды даже нашил на нее погоны), брали на задания деревянных идолов...

Что интересно, их не призывали, несмотря на закон 1939 года о всеобщей воинской обязанности. С началом войны Госкомитет обороны освободил коренных малочисленных от обязательной мобилизации. То ли считали, что таежники, многие из которых слабо владели русским языком, не готовы к службе, то ли берегли редкие народы, то ли считали, что их фронт – пушнина...

Поэтому таежные охотники, как правило, шли на фронт добровольцами.

Интересно, что раньше слово «охотник» имело второе значение – «доброволец».

Вспомним некоторых из них.

Семен Номоконов, забайкальский хамниган (народ, родственник эвенкам и бурятам). Потомственный охотник, имел прозвище Глаз коршуна. В школе не учился, русский освоил к 35 годам. На войну попал в возрасте 41 года. Впечатления не произвел: мал ростом, форма висит мешком, никуда не торопится... Служил в хозвзводе, в похоронной команде, санитаром.

Однажды невзрачный боец, навскидку поразив немецких разведчиков, спас раненого командира. Попал в снайперский взвод. Прошел боевой путь от Валдая до Маньчжурии. Общий подтвержденный счет – 368 вражеских солдат и офицеров (следует оговориться, что эти цифры в известной степени условны, поскольку вести учет жертв снайперов непросто; как правило, на самом деле боевой результат каждого из них еще более впечатляющий, чем официальный).

Имел несколько ранений. Бывало так, что вражеской пулей у Номоконова изо рта выбивало трубку – вместе с зубами.

С трубкой он не расставался, выжигал на ней точки по числу убитых солдат и крестики по числу офицеров. Однажды уничтожил генерала.

Враг дал ему прозвище Сибирский шаман. Немцы говорили: Номоконов курит «трубку смерти».

Одевался по-охотничьи, обувался в самодельные бродни, пользовался веревочками, рогулька-

ми, зеркалами для отвлечения внимания противника...

На одной из снайперских дуэлей погиб бурятский земляк Номоконова – Тогон Санжиев, с которым они работали в паре (на счету Санжиева было 186 врагов). Пуля через оптический прицел попала Санжиеву в голову, прошла навывлет и ранила в плечо Номоконова. Последний несколько дней спустя выследил и уничтожил немецкого снайпера, убившего его друга.

Михаил Матусовский написал поэму «Друзья»:

*Тунгус хитер был, осторожен,
Зато горячим был бурят...*

Василий Лебедев-Кумач писал о Номоконове:

*Он сочетает и умение,
И выдержку большевика.
Он бьет, и каждой пули пень
Уносит нового врага...*

Федор Охлопков, якут. Работал шахтером-откатчиком на прииске, охотником-промысловиком, механизатором.

Дважды участвовал в знаменитых парадах на Красной площади: 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945-го.

Боевой счет – 429. Прозвище – Сержант без промаха.

Командовал отделением снайперов, в котором служили Квачантирадзе (534 убитых), Смоленский (414), Ганьшин (267). Ранен 12 раз. Герой Советского Союза.

Учил молодых бойцов: «Нельзя рубить топором там, где нужна игла... В тылке надо быть круглым, в трубе – длинным... Пока не увидишь выхода, не ходи».

Позицией Охлопкова мог быть подбитый танк, стог соломы, печь сгоревшей избы и даже убитая лошадь.

Не боялся ничего, кроме змей.

Иван Кульбертинов, эвенк из Олекминского улуса Якутии. Умудрился родиться в день Октябрьской революции. С детства добывал пушного зверя.

Уничтожил 487 солдат и офицеров противника.

Вспоминал: «Лежу вторые сутки в засаде, каждая жилка, каждый нерв напряжены – слежу за сараем, где расположились немцы. В трудные минуты представляю себе необъятные просторы олекминской тайги... Для себя внушил, что фашист – это настоящий зверь, которого нужно незамедлительно обезвредить».

Земляки звали Ивана «бусхаа» – могучим: несмотря на невзрачный вид (рост 1,54, вес 53), он был очень силен и искусен в драке.

Максим Пассар, нанец из-под Хабаровска. С детства охотился с отцом. В феврале 1942 года добровольцем ушел на фронт, участвовал в Сталинградской битве. За его голову немецкое командование назначило награду в 100 тысяч рейхсмарок. Уничтожил 237 солдат и офицеров противника.

Евгений Долматовский писал:

*...Научи нас всех, охотник, хитрости своей, сноровке.
Слава воину Пассару, слава снайперской винтовке!*

Погиб в январе 1943 года. В 2010 году Пассару посмертно присвоено звание Героя России.

Арсений Етобаев. Бурят. Воевал на Гражданской, в 1929 году в составе Бурятского кавалерийского дивизиона участвовал в конфликте на КВЖД.

На Великой Отечественной сначала командовал взводом снабжения. Это случай не единственный: начальство часто не воспринимало таежников, особенно неюных, всерьез.

Личный счет – 356 человек и два самолета. Единственный снайпер, сбивший из винтовки два бомбардировщика – «Хейнкель-111» и «Юнкерс-87».

Еще одна нанайская фамилия – Самар. Снайпер Алексей Самар из-под Хабаровска отличился в Сталинграде. Уничтожил 299 солдат и офицеров, в ноябре 1942 года погиб. Аким Самар – поэт, основоположник нанайской литературы – в 1942 году добровольцем пошел на фронт, написал стихи «Фашист бими-дэ пэргэдечи» («Хоть ты и фашист, получишь по заслугам»), вскоре погиб.

Жамбыл Тулаев, уроженец Иркутской губернии, бурят. Снайперский счет – 313 фашистов. Считался непредсказуемым в выборе рисунка боя. Утверждал, что ему помогали высшие силы, к которым он обращался как потомственный шаман. Парторг подразделения. Герой Советского Союза.

Цырендаши Доржиев, бурят. Естественно, охотник. Поначалу служил при полевой кухне – возил продукты на лошади. Добился перевода в снайперы. 297 человек и один самолет – истребитель «Me-109». Скончался от ран в госпитале в январе 1943 года.

Алексей Миронов, якут. Окончил шесть классов, работал счетоводом в колхозе. Воевать начал под

Москвой, погиб при освобождении Венгрии. Не менее 129 врагов. Герой Советского Союза (посмертно, 1990).

Захар Киле, нанаец, внес тактическое новшество: наладил взаимодействие снайперов с минометчиками и артиллеристами. Скромный, застенчивый. Поразил 176 гитлеровцев.

...И многие, многие, многие другие.

Илья Эренбург писал снайперу Кириллу Батуму, уроженцу Императорской (ныне Советская) Гавани: «Вы... подлинный рыцарь... Если бы немцам сказали, что на далеком севере живут эвенки, немцы, вероятно, решили бы, что эвенки – дикари... Вы – гражданин просвещенной и свободной страны. Вы били зверя. Теперь, когда немецкие дикари напали на наши города и села, Вы бьете немцев. Вы были охотником. Вы стали судьей».

* * *

Эти люди не были кадровыми военными. Войну воспринимали как неизбежное бедствие, трудную работу, которую нужно выполнить – и вернуться в родные места, к привычным занятиям.

Кульбертинов после войны работал в родном Олекминском районе охотником, оленеводом.

Номоконов плотничал, работал бригадиром в совхозе.

Охлопков был избран депутатом Верховного совета СССР. Руководил районной конторой Якутского мясотреста.

Тулаева земляки избирали председателем колхоза, секретарем сельсовета.

Етобаев работал в Бурятии участковым.

* * *

Мы ни в коем случае не хотим выпячивать заслуги одних и отодвигать заслуги других.

Но, честное слово, это впечатляет: таежные охотники, порой неграмотные, из богом, казалось бы, забытых мест – останавливают привыкших побеждать солдат вермахта. Бьют их десятками, сотнями, тысячами... в основном из обычных трехлинеек. Как белку, соболя, волка...

Родственники арсеньевского следопыта Дерсу Узала были парни не промах.

(А скольких еще стрелков они воспитали!)

* * *

Война дала еще один ответ на вопрос о том, зачем казаки шли далеко на север и восток, присоединяя к России все новые земли.

Тотемным зверем русских должен быть соболь, а не медведь. Медведь – затертый европейский символ: и Берлин, и Берн – все медвежьи названия. Не разборчив в еде, неуклюж, спит зиму напролет... Что нам дал медведь?

Соболь – совсем другое дело. Изящный, хищный, юркий, он «сделал» несколько русских веков.

В свое время соболь вел русских за Урал. Пушнина – «мягкая рухлядь» – была валютным экспортным ресурсом, углеводородами своего времени.

И он же, соболь, воспитал непревзойденных снайперов – секретный таежный спецназ.

Ничего лишнего у нас нет. Ни пяди земли, ни зверя. И тем более – ни одного человека.



САМАЯ НЕ ДОШЕДШАЯ ДО НАС КНИГА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ. «ЖИЗНЬ МОЯ, ИЛЬ ТЫ ПРИСНИЛАСЬ МНЕ...»
(«КНИЖНЫЙ КЛУБ 36,6», 2014)



ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН
Писатель и журналист. Родился в 1971 году в Ульяновске. Жил в Набережных Челнах и Наза-ни. Сейчас живет в Москве. Автор множества книг, романа «Убыр» под псевдонимом Наиль Измайлов. Лауреат премии «Большая книга» за роман «Город Брежнев», лауреат пре-мии «Новые горизонты».

Свой главный роман Богомоллов писал долго, написал много – больше 400 страниц книжного издания (даже если не считать часть «В кригере», сформованную в отдельную повесть), но это в лучшем случае пятая часть задуманного – судя по пунктирности повествования, многочисленным повторам и загроможденности текста. Впрочем, явно подлевая вычистка загроможденности (описаниями и, конечно, документами, собранными и додуманными с привычным мастерством) не мешает очень легкому слогу и внятности изложения – я давно так быстро не читал. А повторы, вернее, рефрены, главный из которых – «за что?», являются вполне осознанным и почти структурообразующим приемом.

Текст производит довольно странное впечатление. Льва видно по когтям, но автору уже неинтересны когти, которыми на гранит вечности были нанесены «Иван» и «Момент истины». «Жизнь моя...» наследует больше «Зосе» (хоть нарочито грубей и желчней). С этим связана лично моя проблема восприятия текста.

Богомоллов – мастер психологии действия, причем и действие, и психология уникальны, а рассказчик конгениален герою, потому что явно умеет и качать маятник вразножку, и уверенно высчитывать в своем собеседнике одного из трех тысяч нелично знакомых диверсантов (не только по выпуклости противокоселка, но и по манере вести

дискуссию) – и, соответственно, определять, что выгоднее не только тактически, но и стратегически (для общей победы) – валить собеседника на месте или дробить ему коленные суставы.

Что умеют герой и автор «Жизни моей...», не совсем понятно, потому что им обоим интересна только психология рефлексии, а действие побоку. В течение почти всего текста автор предпочитает показывать героя – настоящего героя, старлея Федотова, пацаном ушедшего на войну и «тянувшего Отечку» три года, издырявленного, невинного, многоопытного, наивного фронтового разведчика и доверчивого щенка – в момент подготовки к чему-то главному (сражению, операции, учениям, зимовке) или в пострейм, когда все уже кончилось. Действие в лучшем случае упоминается (вроде «я тоже получил пулю в предплечье и провалялся в госпитале два месяца»). Чрезмерно подробно прописаны только бытовая и лирическая линии – именно что с повторами и многопудовыми отвлечениями. В результате читатель верит, конечно, но не видит, почему герой не сопляк-ванька-взводный, а опытный и умелый ротный командир, которого никак нельзя унижать и ставить на четыре кости.

Между тем вся книга посвящена тому, как умелых ротных командиров и комполка, лейтенантов и генералов, пацанов и стариков ставят на четыре кости и унижают – не всегда умело, но всегда

Потому что совсем
убойное, неожиданное
и издевательски
точное у этой истории
завершение...

грубо и расчетливо. Унижают другие лейтенанты и генералы, штабисты, особисты, кадровики, очаровательные девушки и измученные лахудры – все. «Только так бесполезно, так зло и ненужно опустили их» – просто потому, что так работает система.

Досадно, что как раз об этом и без Богомолова написано множество книг.

И о страданиях юного лейтенанта по теплему женскому тоже написано множество книг – в том числе и Богомоловым, причем сильно тоньше, лаконичней и вернее (см. ту же «Зосю» и главки «Момент истины» о замкоменданта Аникушине).

Только ближе к финалу опубликованных фрагментов я остро пожалел, что «Жизнь моя...» осталась недописанной. Потому что чукотская, самая бессмысленная и беспощадная, часть жизни старлея Федотова все-таки впечатления дежавю не производит – не помню я литературно обоснованных аналогов. Потому что очень сильно изложена история подготовки и проведения учений, в рамках которых изможденные холодом, болезнями и подножным сбором угля солдатики должны продемонстрировать лихое отражение американского наступления с Аляски. Потому что совсем убойное, неожиданное и издевательски точное у этой истории завершение – а сцена с лайками меня просто накрыла.

«Жизнь моя, иль ты приснилась мне...» могла стать великим романом о судьбе, смысле жизни и справедливости. Этого романа не будет никогда. Мне очень жаль.



САМАЯ ПРОСТАЯ КНИГА О ВОЙНЕ

ЕЛЕНА ИЛЬИНА. «ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА» («РЕЧЬ», 2019)



СЕРГЕЙ НУБРИН

Родился в 1991 году в Пензенской области. По образованию юрист, работает следователем. Публикации в толстых литературных журналах («Урал», «Волга», «Октябрь», «Сибирские огни»), автор книги «Между синим и зеленым» (2019), лауреат междуна-

родной литературной премии «Радуга», финалист литературной премии «Лицей».

Прошлым летом к нам в полицейский отдел привели одного мальчика. Желтоволосый, крохотный, с веснушками. Не помню, как звали. Года четыре, не больше. Он скромно стоял в кабинете. Не смел ни плакать, ни говорить. Ручонки худые-худые, а кулаки сжаты. Терпеливый. Позже стало известно, что мать забыла его на автобусной остановке. Взяла и забыла. Заговорила по телефону, отвлекалась, еще что-нибудь. Всякое, наверное, случается. Родители нашлись, мальчика забрали. И столько времени прошло, столько всего случилось, а я до сих пор почему-то о нем вспоминаю.

Часто-часто, по любому поводу.

Вот и, перечитав «Четвертую высоту», вспомнил.

Повесть посвящена недолгой жизни Гули Королевой – советской киноактрисы, которая записалась добровольцем в медико-санитарный батальон стрелкового полка и героически погибла в боях под Сталинградом. В ноябре 1942-го во время немецкого наступления она спасла пятьдесят раненых бойцов, отразила нападение, воодушевив солдат на атаку, поразила фашистских захватчиков и до последнего продолжила вести бой.

Ей было всего девятнадцать лет.

За это время Гуля Королева успела сняться в кино, влюбиться и сохранить дружбу, завоевать уважение среди дворовых ребят, прожить счастливое детство и юность, выйти замуж и родить ребенка, уйти на войну и не вернуться.

Страшно и понятно, потому так правильно.

«Есть в человеке темная, слепая сила, которая может заставить его бежать с поля боя, но есть и что-то посильнее, чем эта слепая жадность к жизни».

Непринужденное повествование, где Гуля еще девочка, но с мужественным характером, готовит читателя к предстоящему напряжению. Елена Ильина (урожденная Маршак) заботливо преподносит правду о войне. Война как данность, спокойно и осмысленно героиня принимает решение записаться в добровольцы. Оставив ребенка на воспитание матери, Гуля каждый день вспоминает о нем на войне. Это потом подросший мальчик (Ежик) узнает, что она – «бесстрашная, славная дочь нашей Родины». А пока только стоит, едва научившись стоять, и смотрит, как мама Гуля уходит. Навсегда.

Действительно, самая простая книга о войне. Ни строчки пафоса, ни намек на вынужденную жалость. Напротив, каждая страница наполнена оправданной легкостью, естественным желанием жить и помнить. (Гуля просит мать испечь оладушек перед отправкой на фронт, а встретив смерть, говорит: «Ничего... Чья высота? Наша?») «Ничего». Ничего.

В детстве мать сказала Гуле: «Право на радость нужно сначала заработать». Так просто и так по-

Действительно, самая
простая книга о войне.
Ни строчки пафоса,
ни намек на вынужденную
жалость. Напротив, каждая
страница наполнена
оправданной легкостью,
естественным желанием
жить и помнить.

нятно. Живи и трудись, побеждай и верь до послед-
него.

И жила, и верила, и знала, что человек не умира-
ет, потому что память о его подвигах – вечна.

...И вот я вспомнил о мальчике без имени. Как же
звали его... Миша или Коля. Когда он покидал отдел,
держа за руку мать, я протянул ему флажок с рос-
сийским триколором. Нечего больше дать, а хоте-
лось. Он сказал: «Спасибо», и вроде бы стало окон-
чательно хорошо.

«– А тот огонек горит?

Мама взяла Гулю на руки, поднесла к окну.

Напротив, над стенами Кремля, реял флаг. Он был
освещен снизу и трепетал как пламя. Этот флаг ма-
ленькая Гуля и называла “огоньком”.

– Видишь, горит огонек, – сказала мама. – Он все-
гда будет гореть, Гулюшка. Никогда не погаснет».

Никогда!



МОЯ ЖИЗНЬ НА ЭТОМ СВЕТЕ



АНАТОЛИЙ МИТЯЕВ

Я, Митяев Анатолий Васильевич, родился 12 мая 1924 года в селе Ястребни Сапожновского района Рязанской области. Родители: отец Митяев Василий Харитонович, крестьянин-красноармеец, вернувшийся с Гражданской войны, мать Мария Федоровна, учительствовала в местной школе.

Читаю с пяти лет, с той поры помню рассказ О. Генри «Вождь красноножих», подростком читал всего Джона Лондона. С детства хотел стать лесником. Окончив 9-й класс в подмосковном поселке Нязьма, послал документы в лесной техникум Петрозаводска. Началась война. Летом 1942 года записался добровольцем, на третий день пребывания в армии был в бою. Служил орудийным номером в 513-м отдельном гвардейском минометном дивизионе.

Первые публикации — стихи, заметки об армейской жизни — в 1946 году в газете Дальневосточного военного округа «Тревога». С 1950 года работал ответственным секретарем «Пионерской правды», с 1960-го — главным редактором «Мурзилки», позже — главным редактором студии «Союзмультфильм», журнала «Новая Игрушечка».

Член Союза писателей СССР с 1970 года.

По моим сценариям сделано 11 мультфильмов.

Основные книги: «Тысяча четыреста восемнадцать дней», «Шестой-неполный», «Подвиг солдата», «Книга будущих командиров», «Книга будущих адмиралов», «Ветры Нулинова поля», «Громы Бородина», «Рассказы о русском флоте», «Ржаной хлебушко — налачу дедушна». Первыми книгами были сборники сказок.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Вот так лаконично составлял свои жизнеописания Анатолий Васильевич Митяев — и по требованию надровиков, и для широких публикаций. Хотя в период его самой большой популярности — 70–80-е годы прошлого века — читательскую аудиторию больше занимали мысли, впечатления и мнения автора, и не в первую очередь интересные подробности его биографии.

Всем лично знавшим Митяева были хорошо известны его скромность и душевная деликатность. На профессиональном уровне эти качества вылились в незаурядную писательскую честность. Он не представлял возможным предлагать чьему-либо вниманию свою личность, тем более навязывать себя, ни в жизни, ни для чтения. Даже в тех единичных случаях, когда персонаж говорит от лица автора, Митяев, указывая его место, прекрасно держит дистанцию. Конечно, исторические повествования и публицистика очень одушевлены его личным отношением к происходящему. Но и здесь все — на службу делу, на пользу читателю. Отдельные, строго подобранные вкрапления фактов личной жизни — как вынужденная жертва на алтарь истины: «вот послушайте, я сам видел это, может быть, кое-что вам пригодится для осмысления». Тем не менее такие вот отрывки-воспоминания, а порой и целые сюжеты, встречаются на страницах его книг. Добавим сюда записи и наброски в черновиках и письмах. Да немногочисленные стихотворные миниатюры, которые Анатолий Васильевич тщательно шлифовал на протяжении почти полувека и которые так и остались в рукописи. Все это плюс несколько воспоминаний друзей и коллег, но их мне удалось застать на этом свете, — вот что составило основу его жизнеописания.

Впервые он поверил в искренний интерес публики к конкретным подробностям своей долгой жизни — а следовательно, и общей картины окружавшего его бытия, — во время запоздалой поездки на малую родину, когда уже был преодолен им восьмидесятилетний рубеж. Когда завершена была работа над основными книгами, когда пережил последнюю на земле потерю — распад любимой страны, когда на финишном жизненном круге осилил текст Библии — а на дворе уж стоял XXI век. В вопросах милой его сердцу детской аудитории, в пожеланиях молодых педагогов он пронзительно ощутил новые времена и надвигающийся провал не только в знании, но и в понимании обстоятельств и событий прожитых им лет. Вот тогда-то Анатолий Васильевич отложил затянувшуюся на годы работу над рукописью «Хождения» (которая в итоге осталась неоконченной) и сел за откровенно автобиографический текст. С него я и начинаю нашу композицию... Им же и заканчиваю. Работа оборвалась, едва начавшись. Писатель ушел из жизни, немного не дожив до 84 лет.

Конечно, никакого автопортрета из такой автобиографии не получилось. То, что удалось соединить на этих страницах, мне кажется, может претендовать на некий набросок судьбы щедро одаренного природой человека, сформировавшегося и полноценно прожившего свой век в советский период истории России. А самобытность его таланта, как положено, держит внимание читателя данной рукописи. Провидение определило его в наставники новых поколений нового общества. Оно же, уверена, сохранило в нем до последних дней жизни лучшие черты, изначально присущие всем детям человеческим. И самые первые книги Митяева — сказки для детей. Но он добровольно взвалил на себя тяжелый крест работы военного историка — искать с юным читателем желанную



† Ответственный секретарь «Пионерской правды» А.В. Митяев обсуждает с коллегами макет текущего номера. 1956 год

истину в прошедших событиях — «в пыли, в дыму, в пламени», в кровавых итогах войн. Чего это стоило ему, миру неведомо. Ибо сей жребий выпал на долю человека очень доброго, работающего и миролюбивого, воплощения характера его предков — землепашцев срединной России...

Между прочим, названные черты Митяева-человека вовсе не вредили чувству его писательского достоинства: Анатолий Васильевич прекрасно знал цену собственному слову. Очень непросто было ему работать с горе-редакторами, которых всегда хватает. Ведь чем подлиннее дарование, тем более непредсказуемы последствия вторжения в его обитель. Вот и я сегодня, несмотря на сказочно-пушкинские тридцать лет и три года, проведенные нами в согласии и сотрудничестве, вовсе не уверена, что Анатолию Васильевичу не захотелось бы всю эту самостоятельность переделать... Что же мне остается? А остается мне только перечислить тех друзей и коллег Анатолия Васильевича Митяева, чьи воспоминания здесь использованы. И просить читателя о снисхождении к выбранной мною форме подачи разнообразных интересных материалов из архива замечательного писателя и человека.

Ия Пестова

Мы публикуем фрагменты воспоминаний, посвященные Великой Отечественной войне. Полный текст мемуаров Анатолия Митяева — на сайте unost.org

**Как война к Москве подходила. 1941–1942.
Московская обл.**

Летом 1941 года мы, школьники московского пригорода, войну чувствовали еще не такую грозную, какой она была. Заклеивали стекла окон полосками бумаги – взрывной волной стекла выбьет, но осколки не разлетятся, не ранят. Знали, какие одеяла намочить и как завесить ими окна и двери, если немцы сбросят бомбы с отравляющими веществами. Во дворах копали «щели» – укрываться от бомбежки и обстрела. На школьном чердаке были ящики с песком и длинные клещи – гасить и сбрасывать на землю зажигательные бомбы.

Военные сводки были горькие и неутешительные. Все чаще выли сирены и фабричные гудки, оповещающие о налете. А еды стало так мало, что все время хотелось есть.

На войне уже был отец Василий Харитонович. Почтальона и ждали, и боялись: что он принесет – письмо или похоронную? К нам однажды принес повестку – сдать для военной службы овчарку Джека. Мысли о том, чтобы не отдавать собаку, не было.

Мы уже сдали в фонд обороны все самое ценное, что было в доме, – два овчинных тулупа и два медных самовара. Сестры, мама и бабушка прощались с Джеком. Я в назначенный день привел его в сад кинотеатра. Там к забору уже было привязано десятка два больших собак разных пород. Они не лаяли и все были удивительно смиренны: то ли недоумевали, почему их собрали здесь, то ли провидели судьбу – взорвать миной вражеский танк и при этом погибнуть...

Занятия в школе, начавшись, скоро прервались. Война была уже у самых ворот Москвы. Поскольку нас в армию не брали, стали собираться в партизаны. Прежде были у нас походы в леса у Яхромы. Туда и надумали податься, если немцы войдут в город. Собирались в глубокой тайне и были ужасно раздосадованы, когда одноклассница Стелла вдруг сказала: «Ребята, я все знаю. Возьмите меня с собой». Встретили Валу Силонова – он учился в техникуме – позвали партизанить. «Я бы пошел, – ответил он, – только валенок нет...» Обут он был в летние полуботинки, а уже лежало много снега и было морозно. Мы еще не знали, что повсюду на подступах к городу, в том числе около Яхромы, шли сражения не на жизнь, а на смерть... Вскоре, в декабре, немцы побежали от Москвы.

Как хлеб ищут. 1941. Клязьма Московской обл.

В детстве я терял свои вещи. Искал их, не находил и сердился.

– А ты ищи, как хлеб ищут, – говорила бабушка, – обязательно найдешь.

Бабушкин совет я не понимал. Хлеб лежит в шкафу. Найти его проще простого. Вообще искать не нужно.

Я стал подростком. Началась война. Продуктов не хватало. Все время хотелось есть. Полученный по карточкам хлеб поровну делили между членами семьи. Давали корочку Джеку.

В обед от пайка ничего не оставалось. Вечером я осматривал все ящики в столе, все уголки на полках шкафа – не осталась ли где хлебная крошка.

Тогда-то и понял, как хлеб ищут.

Моя мама. 1942. Клязьма Московской обл.

Моя мама Мария Федоровна была учительницей в Клязьме. Шла Великая Отечественная война. Мой возраст еще не призывался. Я решил пойти на войну добровольцем. Получилось так, что в тот же день, когда ходил в военкомат, надо было отправляться на фронт.

Мама провожала меня до поезда. Последние слова, которые она сказала: «Только не сдавайся в плен».

Мама не плакала. Это при расставании не плакала. Но лила слезы потом. До самого дня Победы.

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ**Кое-что о моей войне. 1942. Москва, Клязьма, Пушкино, Брянский фронт**

На фронте был больше двух лет, однако ничего особенного со мной не происходило – повседневный труд, часто под бомбежкой, под обстрелом. Зима без крыши над головой, счастье – наскоро вырытая землянка, а то и ямка для ночлега, накрытая плащ-палаткой. Удивительно, но я ни разу не болел, не простудился. Может быть, не обращал внимания на недомогание – не до того было.

Расскажу о начале моей службы. Это были самые тяжелые дни – обживание фронта. С часу на час, со дня на день ждал, что вот-вот буду убит. Себя жалко не было, думал о горе мамы, когда пришла бы к ней похоронка. Через месяц, может быть, раньше, с опытом возникла уверенность, что гибель, конечно, возможна, но не обязательна. С такой мыслью я и в добровольцы уходил – не помирать, а побеждать. Запомнились пять случаев, когда, казалось, должен погибнуть. А сколько осколков, пуль пролетело вблизи...



† А. Митяев — ученик Сапожниковской школы с сестрами Людмилой и Верой. 1934 год

Я жил недалеко от Москвы, в дачном поселке Клязьма. С началом войны, как многие сверстники, пошел на завод в городе Пушкино, был слесарем-монтажником. Под станину лебедки попал средний палец левой руки, сорвало ноготь и кожу. Медики говорили: «Палец оскальпирован». Довольно долго кость обрастала кожей. Было время подумать, что делать дальше. Мой возраст еще не призывался, а война шла. Шло тревожное лето 1942 года. Решил поступать в военное училище. По дороге в Пушкинский горком комсомола встретил одноклассника Бориса Михайлова. Вместе мы попросили в горкоме направить нас в училище.

— Сейчас набора нет, — сказал секретарь, — а вот если хотите учиться и воевать одновременно, направление дадим.

Мы без раздумья согласились и написали заявления. Куда попадем, в какой род войск? Об этом ничего не было сказано. А когда?

— Сегодня к 16:00 явиться в военкомат. Взять портфель, кружку, ложку.

Мама, сестры, бабушка не могли поверить, что так, вдруг, ухожу. От положенного мне на обед куска хлеба отказался — в армии накормят. Сестры Люся и Вера выдернули мне в дорогу десяток репок...

Офицер военкомата отвез нас и еще нескольких таких же юнцов в Москву, в Измайлово, на пункт формирования части, помещавшийся в школе.

Первым делом была мандатная комиссия. Полковник, выслушав мой рассказ — кто я такой, спросил: — Восемьдесят килограммов поднимешь?

Я молчал, не понимая, при чем тут килограммы. Майор, тоже сидевший за столом, ответил за меня:

— Поднимет, парень крепкий.

Оказалось, шел комсомольский набор в части ракетной артиллерии — нового оружия Красной армии. Снаряд «катюши» и весил восемьдесят килограммов.

Тогда же начали применяться «эрэсы», ракетные снаряды для запуска не с машины, а с наземных установок. Калибр снаряда «катюши» 130 миллиметров, дальность полета — свыше десяти километров. Те, что запускались с наземных установок, были калибром 300 миллиметров, дальность полета около трех километров. Весил такой снаряд 100 килограммов, а вместе с ящиком, из которого запускался, — 120. Применялись эти «эрэсы» для стрельбы по укреплениям противника. Сложность стрельбы заключалась в том, чтобы скрытно подвезти пусковые станки и установить на них «эрэсы» под самым носом у немцев. Иначе, если будешь обнаружен, разбомбят, расстреляют из орудий все приготовленное к залпу.

Дивизион имел 24 пусковых станка, на каждом по четыре снаряда, в снаряде свыше 25 килограммов тола – огромная разрушительная сила...

Это все узнаю позже. А в тот долгий летний день нас хорошо покормили, парикмахер армянин снял наши чубы под нулевку и упитанный старшина вывел нашу группу на улицу и приказал собрать окурки под окнами школы. (Насорили из окон верхних этажей прибывшие днем раньше комсомольцы-добровольцы.)

Мы полагали, что нам, добровольцам, оставят прически. Но не оставили. К тому же издевательство – на глазах проходивших москвичей собирать в горсть бычки... И мы наивно решили разойтись по домам – в ограде школы, кроме ворот с часовым, была калитка. Верно, ушли бы, говоря военным языком – дезертировали.

Но тут отворились ворота, ввалилась на школьный двор толпа загорелых людей в выцветших пилотках и гимнастерках, кто в сапогах, кто в башмаках с обмотками. Это были прибывшие прямо с фронта уже обстрелянные солдаты. Смешав их с нами, зелеными, сформировали новую часть – 513-й ОГМД, отдельный гвардейский минометный дивизион.

Как потом выяснится, из действующих частей отдавали не самых воинственных. Не самые воинственные были говорливыми; слушая их рассказы, мы забыли об обиде на толстого старшину.

На следующий день в Измайловском парке обмундировались. По алфавитному списку нас распределили по батареям и взводам. В нашем взводе боепитания оказались Матвеев, Медведев, Миرون, Митяев, Михайлов... Мы с Борисом отправились к командиру дивизиона старшему лейтенанту Куренкову – проситься в разведку. Ответ был такой, что привести его печатно нельзя. Бывалый солдат Петухов, тоже попавший в боепитание, объяснил, что за исключением хозяйственного взвода везде несладко. (Майор Григорий Григорьевич Куренков, молодой, высокий, красивый, отважный, погиб в Восточной Пруссии. Знал, что самоходное орудие немцев «Фердинанд» простреливает перекресток дорог, но надеялся, как бывало прежде, проскочить.)

На станции Московской окружной железной дороги мы погрузились в товарные вагоны. Провожали нас несколько железнодорожных служащих. Гражданских лиц к поезду не подпускали. Небольшой духовой оркестр сыграл нам марш «Прощание славынки»...

В Елец поезд прибыл, когда начало светать. Ехали благополучно, несколько раз останавливались

в пути: приказывали вылезать из вагонов в поле. Опасались бомбежек. На паровозе, на крышах нескольких теплушек дежурили пулеметы.

В яблоневом саду на окраине Ельца я впервые увидел свои «эрэсы». Мы грузили их в автомобили ЗИС-5 – трехтонные и полуторки. Сгрузились в молодом дубовом лесочке. Утро солнечное, тихое. Бессонная ночь сморила нас. Трава на опушке чистая, мягкая. Дремалось. Вдруг метрах в ста ударил снаряд, черный столб земли поднялся над кустами.

И снова все стихло, летали бабочки. Меня потянуло посмотреть, куда ударило. Пошел. Свист нового снаряда остановил меня, я первый раз в жизни плюхнулся на землю. Потом уже, кое-что узнав в артиллерии, определил: немцы пристреливались, брали цель в вилку.

Солнце светило ярче, грело жарко. Сходили на кухню за завтраком. У нас с Борисом был один котелок на двоих. Сели на края ямки, на коленях котелок – две сосиски, белые и толстые макаронины. Таких дома давно не пробовали. Не помню, начали мы есть, не начали. По всей опушке загрохотало. Поблизости был плохонький блиндажик. Бросились туда. Там уже был шофер Калашников – пожилой, с лысиной во всю голову. Его била дрожь, да так, что стучали зубы. Я подумал: «Вот трус, повуюй с такими». За мной в узкий проход лез Борис, за ним – огромного роста татарин Исмагилов. Исмагилов прижал к земле ногу Бориса и не понимал, почему тот не пускает его в укрытие. Сцена эта, можно сказать, развеселила меня.

Грохот, как начался внезапно, так и стих. Снаружи послышался стон. Борис, за ним я вылезли из укрытия. К нам подползал солдат. Его рука выше локтя была перебита и волочилась на коже. От моей храбрости ничего не осталось, будто попал я из ледяной воды в кипятки. Или наоборот. А Борис мгновенно сдернул свой брючный (фамильный) пояс, перехватил им руку – остановил кровотечение. До сих пор помню обломок сучка, которым мой друг закрутил перевязку. Прибежал лейтенант военфельдшер, спросил: «Кто перевязал? Ты (посмотрев на Бориса)? Молодец!»

Полуторка повезла солдата в госпиталь. Не знаю, как звали раненого, мы еще не успели познакомиться... Раненому многие завидовали – пусть без руки, но отвоевался.

Еще был убит солдат из соседнего взвода.

После артиллерийского огневого налета дивизион (нас около двухсот человек) углубился в лесок. Все начали рыть окопчики. Грунт был твердый,

с камнями. Мы с Борисом выкопали неглубокую узкую и короткую яму. Спали в ней валетом, положив ноги друг на друга.

На рассвете меня с казахом Тюлеевым назначили охранять штабеля наших снарядов. Неподалеку от снарядов крытая щель, я, пока на посту Тюлеев, решил вздремнуть. Проснулся от грохота, гремело совсем близко. Мне представился новый огневой налет. Страшно вылезти, ну а если напарник ранен? И тут я слышу спокойный голос:

– Вставай, твоя смена, я отдыхать буду.

Это бьют наши пушки. Я еще не умею отличить взрыв снаряда от выстрела.

Подъезжает наша полуторка. Из кабины – фанерные дверцы, брезентовый верх – выпрыгивает карнач. Приказывает нам с Тюлеевым лезть в кузов. Охранять снаряды остается пост, который сторожил другую сторону штабеля. Я уже знаю, что карнач – это не фамилия какого-либо кавказца, а сокращенно «караульный начальник».

Нас с десятком в кузове. Куда-то едем, торопимся. Дорога на голой возвышенности. То не долетая, то перелетая, то посередине ее методично рвутся снаряды. Спускаемся в широкий и глубокий овраг. Объезжаем подорванный танк. Навстречу – повозка с двумя ранеными, они лежат недвижно. В общем овраг – как улица: по нему движение в оба конца. Пронесся низко «мессершмитт», ударил из пулемета. Через мгновение за ним наш истребитель, зеленый, с красными звездами.

Выехали на дорогу, подъехали к речке. По ее берегу под ветлами окопы, в них солдаты. Это вторая линия нашей обороны. Мы едем дальше. Значит – на первую.

По мосту переехали речку, въехали в село с каменными домами. Остановились на крики: «Воздух! Воздух!» Попрыгали из кузова кто куда. Кинулся я в огороды. В глубокой щели солдат с лошадей. Хотел туда влезть, а солдат не пустил. Смотрю – пехотинская полевая кухня, под ней квадратиком желтый песочек. Я – под кухню. Там и пережил первую в жизни бомбежку.

Улетели самолеты, но развернулись. Новый заход. Лежу в небольшой воронке – от первого налета. Земля теплая, пахнет гарью. «Юнкеры» так низко, что ощущаешь напряжение их металла. Сыплют бомбы, бьют из пулеметов.

После третьего захода немцы улетели. У полуторки собрались ребята. Шофер ранен, осколок влип в лопатку. Лежал между стеной дома и колесом.

С передовой едет повозка с термосами.

– Ведро есть? – кричит оттуда человек. – Возил

кашу, а есть оказалось некому... В котелок? Нет, в котелок класть не буду, канителиться некогда.

Нашелся среди своих умеющий водить машину. Едем дальше. Куда? Зачем?

За пшеничным полем, пересеченным двумя траншеями, открылась низина. В ней нацеленные на вершину пологого холма наши пусковые станки. В ящиках снарядов нет, маскировка с пусковых станков сброшена.

Встречаю возбужденного Бориса. Он рассказывает, что было тут утром.

«Огневую позицию спокойно оборудовали (приготовились к залпу, к пуску снарядов).

Ждали команду. Через какое-то время с вершины холма начали отступать наши пехотинцы – не выдержали атаки немцев. Командир дивизиона Алексеев кричит нам:

– Гвардейцы, за мной! Остановим паникеров!

Мы, человек двадцать, побежали навстречу пехоте. А разве их остановишь! Перемешались с ними. Но тут залп. Над головами пошли «эрэсы». Пехота остановилась. Глядят. А как поняли, начали пилотки вверх кидать, повернули обратно. Мы хотели к установкам вернуться, а пехотный командир не пускает, гонит нас дальше, автоматом грозит. Алексеев с ним ругается. В это время на огневую налетели «мессершмитты». В несколько заходов били из пулеметов, мстили нам. Тогда пехота нас отпустила...»

Стало понятно, почему сюда повезли нас, караульных. Огневая позиция осталась без людей: одни с пехотой были в контратаке, другие разбежались во время налета. Потом все собрались.

В расположение дивизиона возвратились без происшествий. Нашим удалось отогнать немцев. Я жалел, что не видел, как вылетают из ящиков «эрэсы», как летят...

Все вроде было хорошо. Собирались обедать. Корнев, доброволец из Москвы, стрелял из карабина по «мессершмитту», пролетевшему над расположением дивизиона. Алексеев набросился на него с пистолетом, грозил застрелить – за то, что демаскирует дивизион.

Корнев плакал, готовился к смерти... (Именем Мити Корнева я назвал героя нескольких рассказов. Алексеев до войны был директором хлебозавода в Москве. Он погиб при штурме Кенигсберга.) Мы, свидетели этой сцены, страдали не меньше ее виновника. Но худшие переживания были впереди.

К вечеру стали говорить, что в дивизион приехали судьи военного трибунала. Будут судить солдата – за мародерство. При пулеметном обстреле с воздуха был убит командир одного из взводов,

лейтенант, чуть старше нас. Солдат снял с убитого часы, взял финку.

Объявили построение. Всем просто строиться, а нашему взводу – с оружием. Значит, подумал я, приговорят виновного к расстрелу, а убивать его будет наш взвод. Как же я буду стрелять в своего! Хотелось скрыться в лесу...

Перед строем молча, с опущенной головой, без ремня, без пилотки, стоял осужденный. Проклинал ли он ту минуту, когда позарился на часы? И зачем они ему, если и он вот так почти неизбежно погибнет на этой войне?.. Начали читать приговор – штрафная рота...

Тогда же перед строем объявили о том, что немцы из солдат-предателей создали несколько групп для захвата «эрэсов». Враг хочет знать наш военный секрет.

Ночью мне выпало быть в наряде. Дивизион спал, а я вглядывался в темноту. Ветер шумел в прошлогодних дубовых листьях. А если это не ветер, а чьи-то ноги? Еле дождался смены...

Вот так началась для меня война, для «рядового необученного». Пришлось, как было сказано в райкоме комсомола, учиться и воевать одновременно.

С моим школьным и боевым другом Борисом Михайловым изредка встречаемся, еще бодримся. Между прочим, оба награждены медалью «За отвагу».

Борис Михайлович Михайлов:

О войне 60 лет спустя. 2001 год, г. Москва

|||||

Под вечер мы прибыли к месту назначения, разгрузились в лесочке, замаскировали машины и склад боеприпасов, а сами расположились на пригорке. Нас строго предупредили, чтобы не курить, не разводить костры и даже громко не разговаривать, так как передовая рядом. Перед сном мы с Толей, по примеру бывалых, вдвоем выкопали окопчик в сухой и твердой земле, а утром во время завтрака при минометном обстреле спрятали в нем свои лежащие тела. Причем на Митяева, ловко прыгнувшего в укрытие, я нечаянно опрокинул стоявший на бруствере котелок с лапшой, на что он совсем не обиделся. Но опять был страх и ужас, опять кругом кровь, опять раненные...

Вечером мы снова попали под минометный обстрел, вернее, под обстрелом оказался Толя, а я в это время ходил в чужой огород. Пришел с урожаем больших пожелтевших огурцов, на что Толя сказал с нескрываемой улыбкой, с хрустом поедая огурец:

— А я тут переживал, думал, поймут тебя и отдадут под трибунал за мародерство.

Ну, раз появилось чувство юмора, потребность пошутить – значит, все в порядке, будем жить!..

Теперь, спустя почти 60 лет, я удивляюсь: зачем нас повезли с громоздкой техникой к самому переднему краю, зачем нас вообще возили под Елец, если через несколько дней, понеся потери в людях, мы погрузились на машины и снова поехали в Москву?..

Погрузка техники, боеприпасов, бессонная ночь в дороге, и под утро колонна остановилась прямо на улицах Москвы, где-то у Нижних Котлов. У машин, как положено, выставили посты. Моя очередь была с 4 утра, время определялось на глазок. И вот на рассвете меня, только что успевшего сомкнуть глаза, разбудили, и я встал на пост. Сначала походил вокруг машины, потом постоял, изучая пустынные улицы родного города. Тишина... Ни звука... Присел на подножку машины, прислонившись к кабине спящей, да заснул, а может быть, только задремал... На посту!

Разбудил меня сильный рывок за карабин и крик. Я вскочил на ноги и увидел рядом искаженное гневом лицо капитана Алексева.

— Предатель, ты спишь на посту! Расстреляю под-
леца! — Он выхватил из кобуры пистолет. — Аресто-
вать его! А ну, снимай ремень!

Я – спросонья. Да и знания мои военных порядков мизерные. Решил, что все: если сейчас не расстреляют, то будут судить в трибунале. Мне стало совсем невмоготу, я не смог сдержать слезы и заплакал почти в голос, всхлипывая и вытирая ладонью непрошенные слезы. Капитан явно не ожидал такой реакции воина, растерялся, смягчился, но объявил, что арестованный с поста снимается и помещается на «гауптвахту» – в кузов автомашины, нагруженной железяками. Новый часовой охраняет одновременно и машину, и арестованного. Арестованный пристроился у заднего борта грузовика и долго не мог прийти в себя. Разом вспомнился дом, родные, хотя и дома были случаи обострения отношений. Так то было трижды за все детство, и все закончилось несколькими обидными шлепками по заднице. Это несравнимо с угрозой расстрелять и размахиванием пистолетом перед носом перепуганного мальчишки на второй неделе пребывания в армии... Утром была объявлена амнистия и арестованный освобожден.

Через три дня, проведенных в Химкинском парке, нас погрузили на эшелон и повезли на север к Ладожскому озеру, где шли упорные бои. На этот раз мы разгрузили машины километрах в 2-3 от передовой, в березовом лесу, сильно изуродованном артиллерией...

Хлебная норма первой блокадной зимы сократилась до 125 граммов. Попробуйте, пусть отдаленно, ощутить эту меру на себе. Отрежьте от килограммовой буханки восьмую часть. И не ешьте ничего, кроме этого куска, целые сутки.

У черты преступления.

1942. Волховский фронт

В первые месяцы войны Ленинград был окружен фашистами. Блокаду удалось прорвать лишь в начале 1943 года. Попытки прорыва были и раньше, но неудачные. В одной из них участвовал наш гвардейский минометный дивизион. Оружием у нас были подобия «катюш», не те, что на автомобилях, а выпускавшие ракеты с земли, с простых рам, сваренных из углового железа. На рамы (по четыре штуки, иногда по восемь – в два ряда) клались снаряды в деревянных пеналах; пеналы служили упаковкой и одновременно стволами. Снаряд весил сто двадцать килограммов – залп дивизиона (несколько сотен единиц) получался разрушительный, равносильный хорошему налету бомбардировщиков.

Когда меня спрашивают о самом памятном дне войны, я вспоминаю не день, а ночь на Волховском фронте. Как-то поздно вечером наш небольшой взвод послали грузить «эрэсы» на автомобили и везти их к огневой позиции. Хотя летние ночи под Ленинградом светлые, «юнкеры» в это время не летали. Ехали без происшествий заболоченным лесом по лежневке – дороге, собранной из бревен. В одном месте, где дорога вышла на сухой пригорок, остановились, выгрузили снаряды. Грузовики развернулись, поехали за новыми.

А мы начали носить «эрэсы» на огневую позицию – на скат песчаного вала, каким-то чудом возникшего посреди болота. Пенал брали вчетвером, клали на плечи – двое спереди, двое сзади – и брели в вязкой грязи выше колена, цепляясь ногами за корни кустов и кочки. Носить было не так уж далеко, метров двести. Но очень скоро мы выбились из сил. Один из передних споткнулся, упал, и трое не смогли удержать снаряд. Он соскользнул с наших плеч, вдавил беднягу в грязь. Через минуту-другую мы снова – четверо – тащили ношу, черпая голенищами сапог болотную жижу.

Немцы почувствовали движение, начали стрелять из миномета. Мины взрывались в болоте. О минax в те часы, пожалуй, никто из нас уже не думал: энергия в наших телах так истощилась, что хватало ее лишь на то, чтобы передвигать ноги. Занималась утренняя заря, а с ней близилось время залпа

и время вылета вражеских самолетов. Любой ценой надо было носить и носить...

И тут один из нашего взвода исчез. Взводный пошарил по кустам, потихоньку покричал фамилию исчезнувшего. И занял его место в четверке...

Мы успели к сроку. Когда ехали с огневой в расположение дивизиона, в кузове грузовика нас мотало, как мешки с соломой; и в такой тряске многие спали беспробудным сном.

Исчезнувший обнаружился в дивизионе. Оказывается, улизнул одним из обратных рейсов, спрятавшись в брезент, чем укрывали снаряды.

Все думали, что беглеца будет судить военный трибунал. Командир дивизиона – он был чуть старше нас, восемнадцатилетних, – поступил мудрее: уговорил начальника разведки взять провинившегося к себе. Солдат тот давно просился в разведку. В новом месте служил хорошо, получил орден. Парень-то был отважный, на войну пошел добровольцем. Все, как говорится, было при нем. Но не хватило терпения исполнять долгую изнурительную и однообразную работу. И он оказался у самой черты.

Что такое сознание?

1943. Северо-Западный фронт

Весной 1943 года в вечернем лесу под Старой Руссой попал я под минометный обстрел. То ли хвостовой частью мины, то ли комком мерзлой земли, а может быть, обломком дерева стукнуло по голове. И боли не чувствовал, и не было в глазах разноцветного фейерверка – он замелькал позже, когда я повторно очнулся. Сознание вернулось только под утро. Мне привиделось, что головы у меня нет, есть нечто коричневое. Но мгновенно пришла мысль: это коричневое не привиделось бы, если бы головы не было. Лежа пощупал шапку, под ней – голову, целую. Двигаться не хотелось. Потом, глядя на едва различимые в сумерках стволы уходящих в небо сосен, пытался размышлять. Ночь я прожил без сознания. Что же такое сознание? Ничего не существовало для меня: ни немцев, ни своих, ни сырого снега подо мной, ни вековых надо мной деревьев. Не тревожился я о маме и сестренках, оставленных в голодном тылу без мужской заботы... Вот, оказывается, как спокойно можно жить, беззаботно. Жить без сознания... Сколько, однако, так проживешь? И зачем мне такая жизнь?..

Прошло какое-то время, и я перестал видеть свет – показалось, что наступила тихая ночь. Когда снова пришел в себя, меня перекладывали на носилки санитары.

|||||

На фронте хлеб нам выдавали утром, сразу на все отделение.

Надо было делить его без весов.

Солдат, у которого был хороший нож, резал буханку равными дольками и раскладывал на плащ-палатке. Когда это дело завершилось, он просил кого-нибудь отвернуться.

– Кому? – спрашивал солдат-хлеборез и указывал ножом на кусок хлеба.

Отвернувшийся называл фамилию. Названный брал свою долю – пайку, как говорили тогда.

Фашисты при случае, когда их и наши траншеи были близко, кричали со смехом: «Рус! Давай хлеб делить. Кому? Ивану!»

Мы и в то голодное время не были жадными или расчетливыми. Жизнями жертвовали ради спасения товарищей. Хлеб же делили с таким тщанием, с такой справедливостью потому, что был он нам не только пищей, но вестью из далекого тыла о трудной жизни наших родных, об их тревожной любви к нам, солдатам, об их терпеливом ожидании нашей победы над врагом.

Десяток минут, уходящих на дележ хлеба, возвращал нас в немыслимо счастливое время – в мирную жизнь.

Артиллерист о летчиках

(из «Книги будущих командиров», 1970).

Северо-Западный фронт

|||||

Асом – воздушным снайпером – летчик Александр Константинович Горовец, сбивший в одном бою девять самолетов, прожил совсем недолго. Его настигли вражеские истребители и беззащитного – не осталось ни одного снаряда, ни одного патрона – сбили. Как же жалела его пехота, на глазах которой он доблестно сражался и погиб!..

На войне смерть обычна, но люди все равно остро переживают гибель однополчан. Горькое чувство вызвала смерть и совсем незнакомого летчика. Ты его не знаешь, а скорбишь о нем. Летчик-истребитель гибнет, защищая тебя – пехотинца, артиллериста, танкиста – от бомб.

Сердце заходило в ярости и досаде, когда видел, как «мессеры» расстреливали летчика, выбросившегося с парашютом из подбитого «ястребка».

А вот, дымя и пылая, со страшным гулом самолет врезается в землю. Тогда, хоть и понимал, что беды не поправить, бежал к месту падения, все надеясь помочь верному и неизвестному товарищу.

Недоуменно смотрели, как истребитель во время воздушного боя вдруг выпадал из общей карусели своих и вражеских самолетов и начинал в стороне выписывать фигуры высшего пилотажа – срывался в штопор, выходил из него, свечой устремлялся вверх, крутился через крыло... Кого-то осеняла догадка: летчик мертв, а отлаженный самолет сам по воле случайностей вьется в небе, пока не кончится горючее.

Зато какая радость – помочь сбитому живому летчику!..

В промежутках между боями, у костерка или печурки, солдаты любили посудачить, какому роду войск на войне лучше. Все взвешают: у пехоты марши с полной выкладкой, зато окопаться только для себя самого; шофер едет, на себе ничего не несет, но и для грузовика копает укрытие; танкиста броня спасает от пуль и осколков, а от фугаса на дороге танк беззащитен...

Вот летчикам никто никогда не завидовал: что паек у них с печеньем, что дают им не махорку, а папиросы, что обмундирование по росту, чистое, суконное, что наград полна грудь. Летчик был выше обычных норм, которыми оценивается на войне человек. Среди всех военных мастеров – танкистов, артиллеристов, разведчиков, среди всех храбрых и безупречных летчик был на первом месте. По праву был.

Как я напугал немцев. 1939–1956. Клязьма,

3-й Белорусский, Берлин

|||||

В школе я учился хорошо. Но в седьмом классе увлекся радио: покупал дешевые подержанные детали и делал радиоприемник. В те времена эта вещь была редкой и дорогой. Был в моем распоряжении небольшой стол. На нем лежали – как казалось моим домашним, в беспорядке, – трансформаторы, конденсаторы, сопротивления и прочее, соединенное проводами. Этот натюрморт ловил, с хорошей громкостью, передачи радиостанции Москвы. Сестры и бабушка обходили стол стороной, ничего не касаясь, – знали, что и меня, его хозяина, не однажды било током. Думаю, понятно будет, почему у меня стали появляться тройки. Особенно запустил я немецкий.

Мой радиоприемник совершенствовался. Отец поверил в него и однажды принес от столяра красивый ящик. Однако упаковать в него все бывшее на столе я не смог – началась война, иметь радиоприемники было запрещено.

Как попал на войну, известно. Известно также, что в Белоруссии летом 1944 года было окружено

множество немецких войск. Одни сопротивлялись до последнего, другие выжидали, надеясь на помощь. Третьи, сохраняя жизнь, сдавались в плен.

Как-то ребятам из соседнего дивизиона сдались полтора десятка немцев. Фрицы были не в лучшем виде: обтрепанные, небритые, явно голодные. Стали искать переводчика. Выдвинули, за неимением лучшего, меня. Конечно, я мог спросить имена, место жительства, род войск. На это знаний моих хватало. Этого и ждали от меня мои товарищи. Но я сказал следующее:

«Ди дейтшен зольдатен шрекlich ви вульф.

Во ист дейтше дорт фойер унд блют».

Пленные всполошились. Послышалось: «Гитлер капут! Вир шноссен ниht! Вир зинд арбайтер!»

Мои товарищи недоумевали: «Что ты им сказал? Что они ответили?»

А я сказал:

«Немецкий солдат ужасен как волк.

Где немец — там огонь и кровь».

Вероятно, пленные после таких слов ждали расправы и потому закричали: «Гитлер капут! Мы не стреляли! Мы рабочие!»

Немцев отвели на допрос в штаб бригады. Дальше их путь в числе многих тысяч лежал в лагеря военнопленных. Вполне возможно, что напуганные мною фрицы летом 1944 года были среди 60 тысяч взятых в Белоруссии и проконвоированных по главным улицам Москвы. По 20 человек в шеренге со своими генералами и офицерами три часа шла огромная колонна — напоказ москвичам.

Вернемся к моему немецкому. После войны я намеревался поправиться в этом предмете. Запасся словарями, книгами с несложными немецкими текстами – читал с удовольствием, накапливал слова. Но на самостоятельное постижение грамматики меня не хватило.

По журналистским делам несколько раз ездил я в Германскую Демократическую Республику. Там давали мне переводчика. Но каждый раз получалось, что переводчики были слабые. И я, поскольку знал множество немецких слов, помогал им найти нужное.

Что из моей помощи вышло? Немцы, с которыми общался, посчитали, что я их язык прекрасно знаю, но не признаюсь в этом, скрываю – возможно, чтобы выведать их истинное отношение ко мне или ко всему Советскому Союзу!

Однажды за торжественным обедом нам подали мороженое в высоких и вычурных бокалах. «Их хабе айн турм, / Их бее нах штурм» («У меня башня, я ее штурмую»).

Этот стихок, получившийся сам собой, окончательно уверил моих хозяев, что я «подглядывал» за ними. Не сразу я догадался об этом, догадавшись, не стал страдать – всякое бывает. Главный же итог – в том, что любое дело, за которое взялся (к примеру, изучение немецкого) надо делать хорошо. Тогда все и будет в порядке.

Горький хлеб. 1944. Белорусский фронт

|||||

Самый горький хлеб я не ел, но видел, как его добывают. Было это опять же на войне, в местности, только что освобожденной от фашистов.

В поле около сгоревшей деревни работали женщины и дети. У них был плуг. К плугу были привязаны лямки: две побольше, три поменьше. В большие впряглись две женщины, в маленькие – трое ребятишек. Они тащили плуг по полю. Еще одна женщина держала плуг за ручки, вела его в борозде.

Нам, солдатам, нельзя было остановиться, чтобы помочь в этой нечеловеческой работе. За грядой бугров гремел бой, и мы торопились туда.

Много ли они вспашут? Потом, после плуга, тащить им по комкам сырой земли борону. Потом посеют руками зерно. И вырастет – только к осени – хлебушек. Сладкий-сладкий. И самый горький.

Горячее желание.

1944. 3-й Белорусский фронт

Во время отступления германских войск по обочинам дорог валялось много всякого добра: сожженные танки, смятые мотоциклы, разбитые грузовики. В памяти запечатлелась опрокинутая повозка и рядом с ней рассыпанные по сухой траве тысячи портретов Гитлера – размером в открытку. Черный клин волос на лбу, усики под крысиным носом.

Фашистского фюрера до этого я видел только на карикатурах и удивился сходству карикатур с портретом. А удивившись, подумал, как человек с такой вот дурашливой физиономией смог затеять такую страшную войну! Помню, от этой мысли стало очень обидно.

И в который уж раз возникло горячее желание каким-либо фантастическим способом попасть в кабинет Гитлера (во сне я уже почти дотягивался до него кулаком!) и рассчитаться с первовиновником человеческих бед.

Наивность моего желания заключалась не только в его неисполнимости. Позже пришло прозрение, что виновником человеческих страданий был от-



[†] А. Митяев – командир отделения в 5-м запасном стрелковом полку, Биробиджан, 1945 год

Мне показалось, что на передней машине немцев не видят. Я выскочил из машины, подбежал к передней. Нет, видели. Шофер Саша Малик, не зная, что произойдет через минуту, бережно выводил свою машину на подъем – тяжелый груз, на прицепе неисправный грузовик. Этот момент немцы, видимо, приняли за остановку машин и перестали стрелять. Но машины двигались все быстрее. Выстрелы возобновились. Из двери передней машины помощник командира нашего взвода сержант Гриша Гонтаренко ответил автоматной очередью. Я влез на капот первой машины, расставил ноги, чтобы не загораживать шоферу дорогу, поставил локти на крыше кабины – приладили стрелять. Мне все было видно сверху. Моей целью стал немец, отделившийся от бежавших через дорогу. Он лег на шоссе, начал раздвигать сошки ручного пулемета, намереваясь стрелять вдогонку. Мои выстрелы заставили пулеметчика откатиться в кусты на обочине. Через какое-то время мы преодолели подъем и оказались в безопасности.

Снаряды были доставлены на место. Попадание пули не могло взорвать «эрэс». Страшный взрыв мог произойти, если бы пули попали в ящик с взрывателями, от взорвавшегося взрывателя сдетонировали

бы все двадцать «эрэсов». Обошлось. За спасение снарядов Гонтаренко получил орден Красной Звезды, Малик и Митяев – медали «За отвагу».

Тактические занятия
на командирском ящике (из «Книги
будущих командиров», 1970). Омск

Я вспоминаю капитана Сыровайского, который преподавал в нашем училище – ГМАУ № 2 – тактику. После доклада дежурного он произносил свою обычную фразу: «Ну-с, сегодня мы проведем занятия на командирском ящике».

Капитан придирчиво осматривал стоявший в середине класса ящик, речку, выложенную в нем из стекляшек, леса из зеленой ваты на спичках, песчаные холмики, церквушку, деревянные брусочки домиков с окошками, с красными крышами. И продолжал: «Итак, на северном скате высоты “Огуец”, а по-немецки “Гуркен”, сосредоточилась рота танков противника. Дивизион гвардейских минометов движется из Новоселок, а вернее, из Нойесдорфа... Вы, гвардии курсант (тут называлась фамилия) – командир дивизиона. Мне же придется быть командиром немецкой танковой роты. Противно быть

В моем обличе «добро с кулаками» рассеяло зло и предотвратило беду. Но при этом сотворилось новое зло. Да не в этом суть размышления. «Можно ли, употребляя силу, удержаться в рамках добра?» – вот вопрос вопросов...

Пояснение к снимку конца 1945 года.

Биробиджан

|||||

Осенью того года, когда мы уже были у границы Восточной Пруссии, меня направили в артиллерийское училище. Не соглашался – война на 3-м Белорусском фронте шла успешная. Сказали, что училище в Москве, и я соблазнился. Как же не повидать маму, сестер, бабушку...

Училище оказалось в Омске, оно под вторым номером («номер один» действительно было в Москве). По военным правилам, с окончанием войны второе автоматически ликвидируется. Выпустить нас лейтенантами не успели. С мая 1945 года началось мое перемещение по разным частям. Оказался я в Биробиджане, в 5-м запасном стрелковом полку, где и был сделан снимок. На войну с японцами, хотя просился, не успел: все быстро кончилось. Через этот полк шла демобилизация старших возрастов, их замещали мы, молодые. Таким образом в конце концов я и попал на Сахалин. А уж с острова демобилизовался весной 1947 года...

Наш полк занимал обширную территорию у подножия сопки, километрах в трех от города. Была она огорожена высоким забором из колючей проволоки. Естественным препятствием с одной стороны была сопка, круто обрывававшаяся к реке Бире. Особых дел у солдат не было – жди, когда тебя отправят куда-нибудь. От безделья, естественно, у некоторых возникало желание побывать в «еврейской столице». Потому и ограждения. Я был командиром отделения – 130 человек. Я должен следить, чтобы через проволоку мои не лезли. Бог знает, где они бродили?.. У кухни все собирались.

Однажды приятель Сашка позвал меня прогуляться на вершину сопки. С фронта у него был немецкий пистолет и мешочек патронов. За пистолет могли серьезно наказать, потому решили напоследок пострелять и выбросить его в реку. Залезли высоко на гору. Под нами бурная река. Видим с верхушки пологий скат сопки и низкий берег. Там купаются мальчишки. Вдруг крик: «Мишка тонет!» Видим красные трусики, маленькое тельце. Несет течение несчастного. Скоро будет прямо под нами. Два здоровых парня, сильные, войну прошли. И жуткая тоска на душе: прыгнуть нельзя – горы, до воды

не долетишь, разобьешься о камни. Спускаться по круче? Не успеть. Все это до сих пор у меня перед глазами... И вдруг облегчение. Появился на низком берегу какой-то незнакомый солдат, быстро скинул сапоги, бросился в реку. Догнал Мишку. Вытащил. Ну, счастье – и Мишкино, и наше... А самовольщику слава!..

Стрелять расхотелось. Пистолет полетел в Биру. За ним, отводя душу и успокаиваясь, по штуке кидали мы патроны.



САМАЯ РЕАЛЬНАЯ КНИГА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«ОЛЬГА. ЗАПРЕТНЫЙ ДНЕВНИК» («АЗБУКА АТТИКУС», 2011)



АСЯ ПЕТРОВА

Родилась в 1988 году. Прозаик, переводчик французской литературы, член Союза писателей Санкт-Петербурга, кандидат филологических наук и обладатель докторской степени университета Сорбонна Париж IV. Преподает в СПбГУ. Автор нескольких книг для

детей и юношества и двух романов, а также более сорока книг переводов. Лауреат первой премии «Нигуру» и премии имени С. Маршана.

Может быть, книгу «Ольга. Запретный дневник», подготовленную Наталией Соколовской, не стоит называть самой реальной книгой о войне, но мне сразу пришло в голову именно это определение. И, наверное, любому своему студенту, в общем, молодому человеку, который совершенно не в курсе реальности нашего прошлого, я бы дала именно эту книгу.

Книга состоит из дневников 1939–1949 годов, фрагментов второй части книги «Дневные звезды», писем, избранных стихотворений и поэм, документов и фотографий, материалов следственного дела № П-8870 из архива УФСБ. Здесь ценно все, но мне особенно близка дневниковая часть. Современный мир живет в инстаграме, частично в фейсбуке. Я на минутку представила себе, что фрагментарные записи Берггольц висят, например, в соцсетях. И каждый день она пишет новые заметки, а под ними, вероятно, самые разные комментарии.

Я помню, как в школе читала наизусть стихотворение Берггольц (забыла какое), помню отчетливо ощущение того, что хочется и надо заплакать навзрыд, но почему-то нельзя. Хочется, но нельзя. Я очень хорошо помню, как слезы стояли у меня в глазах, пока я читала стихотворение, и я помню, как замер класс (у меня были исключительно умные одноклассники, с которыми можно было разделить многое). На этом все. Я так и не заплакала.

И поразила сейчас, когда на первой же странице дневников увидела слова Берггольц (39-й год): «Я страстно мечтала о том, как буду плакать, увидев Колю и родных, – и не пролила ни одной слезы». В этой фразе я узнала то состояние, в котором читала стихотворение в классе в девятом или десятом. Вот так она умела чувствовать и писать.

Еще поразительна способность Берггольц не только выживать, но и жить в невероятных условиях. Я думаю, что многие представляют себе тюрьму и войну как черную безысходность. Но даже из этой безысходности находится выход, даже в условиях этой катастрофы удастся любить и творить, постоянно работать. И как-то сразу забывается все неважное, а все важное вырывается на первый план. Сама жизнь становится более настоящей, более реальной, потому что за нее надо хвататься: «Произошло то же, что в щемящей щедринской сказке “Приключения с Крамольниковым”: “Он понял, что все оставалось по-прежнему, – только душа у него “запечатана”. <...> “Со мною это и так, и все-таки не так. Вот за это-то “не так” и хватаюсь”». И далее: «А может быть, это и есть настоящая зрелость?»

Думается, это не просто зрелость, а сознание реальности. Сложно себе представить настолько ясное сознание. В книге Берггольц, на ее страницах – настоящая жизнь. В ней все перемешано до такой степени, что вопрос о человеческом счастье мгновен-

но растворяется в других мыслях: «Что же, так и не даст мне жизнь счастья – никогда?» Видимо, никогда. Как говорил Осип Мандельштам Надежде Яковлевне, «а кто тебе сказал, что ты должна быть счастлива?». Хороший вопрос в масштабах бытия и немислимый в сегодняшнем восприятии реальности.

Из дневника 41-го года: «Иудушка Головлев говорит накануне своего конца: “Но куда же все делось? Где все?”».

Страшный, наивный этот вопрос все чаще, все больше звучит во мне. Оглядываясь на прошедшие годы и ужасаюсь не только за свою жизнь. Где всё? Куда оно провалилось, в чем исчезает, а главное – зачем?!

Перечитываю сейчас стихи Бориса Корнилова – сколько в них силы и таланта! Он был моим первым мужчиной, моим мужем и отцом моего первого ребенка, Ирки.

Завтра ровно пять лет со дня ее смерти.

Борис в концлагере, а может быть, погиб». И тут же Берггольц говорит о стихах, об Александринке, об Ирке, о Коле, о тюрьме, о врачах, о том, что делать, как работать и как жить. И удивительно, что этот набор событий, фактов, ужасов как-то умещается в ее голове, и на этом фоне она способна работать, переписываться с друзьями, с коллегами, любоваться природой, выступать с чтением стихов. «Никто не забыт, ничто не забыто» не просто *фраза*. Берггольц действительно ничего и никого не забывала.

Вот я внезапно и вспомнила стихотворение, которое читала в школе, известное стихотворение. Наверное, в школе все учат:

*...Третья зона, дачный полустанок,
у перрона – тихая сосна.
Дым, туман, струна звенит в тумане,
невидимкою звенит струна.
Здесь шумел когда-то детский лагерь
на веселых ситцевых полях...
Всю в ромашках, в пионерских флагах,
как тебя любила я, земля!
Это фронт сегодня. Сотня метров
до того, кто смерть готовит мне.
Но сегодня – тихо. Даже ветра
нет совсем. Легко звучать струне.
И звенит, звенит струна в тумане...
Светлая, невидимая, пой!
Как ты плачешь, радуешься, манишь,
кто тебе поведал, что со мной?
Мне сегодня радостно до боли,
я сама не знаю – отчего.*

*Дышит сердце небывалой волей,
силою расцвета своего.
Знаю, смерти нет: не подкрадется,
не задует медленно она, –
просто жизнь сверкнет и оборвется,
точно песней полная струна.
...Как сегодня тихо здесь, на фронте.
Вот среди развалин, над трубой,
узкий месяц встал на горизонте,
деревенский месяц молодой.
И звенит, звенит струна в тумане,
о великой радости моля...
Всю в крови,
в тяжелых, ржавых ранах,
я люблю, люблю тебя, земля!*

Берггольц говорила: «Знаю, в стихах у меня много недостатков». И тем не менее, если знать контекст, недостатки скрадываются, а прорывается сквозь боль – огромная любовь к стране.



САМЫЕ ДЕТСКИЕ КНИГИ О ВОЙНЕ

ВИКТОР ГОЛЯВКИН. «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» («САМОКАТ», 2016),
«ПОЛОСЫ НА ОКНАХ» (В КН.: ВИКТОР ГОЛЯВКИН. «ТРИ ПОВЕСТИ»,
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1977)



ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА
Литературный критик. Родилась в Москве, окончила Московский педагогический государственный университет. Автор ряда публикаций в толстых литературных журналах о современной российской и зарубежной прозе. Руководила PR-отделом издательства

«Вагриус», работала бренд-менеджером «Реданции Елены Шубиной». Старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, сотрудник «Российской газеты».

*Человек идет по рельсам.
Блестят бликами рельсы.
Шпалы, шпалы под ногами.
Рельсы идут в перспективу.
Человек идет в перспективу.*

Виктор Голявкин

*Исполнен душевной тревоги,
В тревоге, с солдатским мешком,
По шпалам железной дороги
Шагает он ночью пешком.*

Николай Заболоцкий

Виктор Голявкин относится к числу писателей почти забытых, втиснутых в рамки советской детской литературы и незаслуженно обойденных вниманием, в то время как среди написанных им рассказов и повестей далеко не только детские. Был с ним связан даже целый литературный скандал, когда в 12-м номере журнала «Аврора» за 1981 год, посвященном 75-летию юбилею Леонида Ильича Брежнева, в разделе «Юмор» (по иронии судьбы выпавшем как раз на 75-ю страницу) опубликовали фельетон Голявкина «Юбилейная речь». Рассказ представлял собой ироничный панегирик, посвященный неназванному писателю. Начинался он такими словами: «Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив. Не верится, что он ходит

по улицам вместе с нами. Кажется, будто он умер. Ведь он написал столько книг! Любой человек, написав столько книг, давно бы лежал в могиле. Но этот – поистине нечеловек! Он живет и не думает умирать, к всеобщему удивлению. Большинство считает, он давно умер – так велико восхищение этим талантом. Ведь Бальзак, Достоевский, Толстой давно на том свете, как и другие великие классики. Его место там, рядом с ними. Он заслужил эту честь!»

Вызвавший вполне определенные аллюзии рассказ стал причиной понятной бури. Публикацию прозвали «Вторым залпом “Авроры”», номер изъяли из продажи, последующий тираж журнала сильно сократили, а руководство уволили. И хотя потом выяснилось, что рассказ был написан за пятнадцать лет до публикации и включен именно в этот номер исключительно по недосмотру, это уже ничего не могло изменить.

Но это – потом, когда Виктор Голявкин уже написал свои лучшие вещи, осознал себя писателем, переехал в Ленинград.

А родился он в 1929 году в Баку в семье преподавателя музыки – поэтому и Виктор, и два его младших брата получали музыкальное образование. О том, как к этим занятиям относился сам будущий писатель, рассказано в первых же строчках самой пронзительной его повести «Мой добрый папа»:

Эпизоды в повести Голявкина – как отдельные сцены в кино. Картинка – диалог – затемнение – следующий план.

«Я никогда не хочу обедать. Мне так хорошо во дворе играть! Я всю жизнь бы во дворе играл. И никогда не обедал бы. Я совсем не люблю борщ с капустой. И вообще я суп не люблю. И кашу я не люблю. И котлеты тоже не очень люблю. <...> Мой брат Боба любит борщ. Он смеется, когда ест борщ, а я морщусь. Он вообще всегда смеется и тычет себе ложкой в нос вместо рта, потому что ему три года. Нет, борщ все-таки я могу съесть. И котлеты я тоже съедаю. Виноград-то я ем с удовольствием! Тогда и сажают меня за рояль. Пожалуй, я съел бы еще раз борщ. Только бы не играть на рояле». И дальше, в следующем абзаце, когда еще все хорошо и никакой войны нет, писателем уже заложена бомба с часовым механизмом, уже по законам саспенса играет тревожная музыка и начинается обратный отсчет до неизбежной трагедии: «Папа мой – музыкант. Он даже сам сочиняет музыку. Зато раньше он был военный. Он был командиром конников. Он скакал на коне совсем рядом с Чапаевым. Он носил папаху со звездой. Я видел папину шашку. Она здесь, у нас в сундуке. Эта шашка такая огромная! И такая тяжелая! Ее даже трудно в руках держать, не то что махать во все стороны. Эх, был бы папа военный! Весь в ремнях. Кобура на боку. На другом боку шашка. Звезда на фуражке. Папа ездил бы на коне. А я шел бы с ним рядом. Все мне бы завидовали! Вон, смотрите, какой Петин папа». Мечта мальчика сбывается: пусть не буквально, но в главной своей части. Папа уходит на фронт.

Великая Отечественная война началась, когда Голявкину было двенадцать. Его личный, семейный драматический опыт нашел отражение в двух книгах – «Мой добрый папа» и «Полосы на окнах». Разные по стилю и настроению, обе они – об одном и том же. О взрослении мальчика в условиях войны, жизни без отца в тот период, когда он особенно нужен.

«Мой добрый папа» – самое лиричное произведение Голявкина. Война входит в жизнь героя

постепенно, сперва прокрадываясь в разговоры родителей непонятными словами: «Почему в мире тревожно? Кто такой Гесс? И еще этот Гитлер... Все было так интересно! Но понять я не мог ничего». Грань от непонимания до вхождения этих слов в повседневный лексикон размыта, а процесс стремителен и необратим. Глава, посвященная началу войны, состоит всего из нескольких строчек и называется соответственно – «Очень маленькая глава». Но в эти строчки писатель умещает и детское мировосприятие, и столкновение прежней мирной жизни (символом которой здесь становится виноград) и новой, пугающей; и нежелание принять эту новую действительность, и аллюзии на переведенную Львом Толстым басню Эзопа о мальчике, кричавшем: «Волки!»*.

Эпизоды в повести Голявкина – как отдельные сцены в кино. Картинка – диалог – затемнение – следующий план. Так и здесь – новая кинематографическая склейка – и Петя уезжает с родителями с дачи, не дождавшись созревшего винограда. И если пару сцен назад, когда герои ехали в противоположном направлении, светит солнце и их с отцом переполняет счастье, то теперь льет дождь – и радости не получается. Завтра отца призывают.

Столкновение страшного, непоправимого и бытового, обыденного – важный для писателя прием: «Мой папа ушел на войну. Мы уходим с балкона». Повесть Голявкина – о том, как война перестает быть для ребенка игрой или сказочным сюжетом; о том, как к мальчику приходит осознание, что она – по-настоящему. Придя в кино, Петя смотрит перед фильмом киножурнал и в одном из эпизодов узнает в нем папу. Он будет ходить в кино ради этого эпизода снова и снова, но живым отца больше не увидит. Несколько секунд киножурнала сохраняют для сына последнее воспоминание о папе.

Кульминационный эпизод повести – новогодний карнавал, во время которого дети смеются и на какое-то время забывают о войне: «Столько я никогда не смеялся. Я про все на свете забыл». А дальше – по-голявкински безжалостно: придя домой, мальчик находит на столе похоронку. И это действует так же оглушающе, как ерофеевское «И с тех пор я не приходил в сознание и уже никогда не придущу».

* Я вышел в сад поглядеть виноград. Я-то знал, что он еще зеленый. Но я хотел еще раз поглядеть. Вдруг я вижу, бежит по дороге мальчишка, вокруг пыль столбом и жара такая! – а он орет:
– Война! Война!

Мама тоже вышла из дому. Слышит это и мне говорит:
– Вот негодный мальчишка! Вчера тоже кричал: «Пожар! Пожар!»
А никакого пожара не было.

Повесть «Полосы на окнах» продолжает сюжетную линию книги «Мой добрый папа»: она тоже о военном времени в той же самой семье, но менее лиричная, акцент в ней перенесен с образа отца на самого героя – мальчишку, живущего в городе, где военных действий не ведется, но и незатронутых войной семей нет. Потребность в собственном герое живет в мальчишке. Ему настолько необходимо, чтобы в его семье был Герой Советского Союза, что он выпиливает из бронзы Звезду Героя и награждает ей воображаемого дядю, рассказывая «легенду» младшему брату, ведь это и его дядя тоже:

– Все понял? – спросил я.

– Все, – сказал Боба.

– А что ты понял?

– Мой дядя – Герой Советского Союза.

– Где он раньше жил?

– В Ленинграде.

– А сейчас?

– Не знаю.

– Сейчас он на фронте, чтоб ты знал.

– На фронте, – повторил Боба.

– На каком?

– На нашем.

– На Ленинградском, чтоб ты знал.

– На Ленинградском, – повторил Боба.

– Знаешь, какие у него ордена?

– Не знаю.

Я перечислил. Многими орденами наградил я дядю.

– Повтори, – сказал я. Но Боба отказался.

– Ты должен знать, сколько орденов у твоего дяди.

– Много... – сказал Боба.

– Вот и хорошо, что много, родной ведь человек.

Мальчишки ищут на охраняемой свалке немецкое оружие, мечтая привести его в боеготовность и оборонять при необходимости город. И непонятно, чего в этом больше – детской игры и желания пострелять из настоящих винтовок или чувства гражданского долга, когда они устраивают стрельбище в квартире, целясь по воображаемым врагам. Опасные игры детей с неразорвавшимися боеприпасами – сюжет, проходящий пунктиром по целому ряду воспоминаний о военном времени. В книге Натальи Громовой «Странники войны: Воспоминания детей писателей. 1941–1944» собраны воспоминания писательских детей, отправленных в эвакуацию в интернат Литфонда в Чистополе. Многие из них вспоминают трагедию сентября 1942-го, когда нелепо погибли мальчишки, нашедшие неразорвавшийся снаряд. Пасынок Василия Гроссмана Миша умер на операционном столе. Очевидец этих событий Евгений Зингер рассказывает: «Один любопытный парень предложил его ра-

зобрать. <...> Хорошо помня отцовские наставления и понимая риск дальнейшего “изучения” снаряда, я попытался объяснить моим товарищам опасность продолжения их “экспериментов”.

– Если ты боишься, можешь не смотреть и вообще уйти, – грубо ответил мне главный “испытатель”. <...>

Сильно оглушенный громким взрывом, я некоторое время почти ничего не слышал. Когда же сообразил, в чем дело, немедленно бросился к ребятам. Взрыв снаряда поднял с земли такую страшную пыль, что вокруг не стало ничего видно. Пройдя несколько метров, моя нога что-то задела (так в источнике. – Т.С.). Я даже не сразу понял, что это была чья-то оторванная часть тела. Во дворе слышались душераздирающие стоны и крики о помощи.

У Голявкина игра с огнестрельным оружием и нагреванием патрона на плите заканчивается благополучно. Гильзу герои найдут, когда война закончится, отклеивая с окон бумажные кресты.

А выпиленная мальчишкой Звезда Героя окажется не у выдуманного дяди, а на стене – рядом с портретом погибшего отца: героя, независимо ни от каких наградных списков.

Эти две повести Виктора Голявкина, по сути, и есть военные награды его папы.



САМАЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ КНИГА О ВОЙНЕ

АЛЕКСАНДР МАРГЕЛОВ, ВАСИЛИЙ МАРГЕЛОВ.
«ДЕСАНТНИК № 1» («ОЛМА-ПРЕСС ОБРАЗОВАНИЕ», 2003)



АНДРЕЙ РУБАНОВ
Родился в 1969 году в Мосновской области. Наибольшую известность получил как автор книг в жанре автобиографической прозы, или нового реализма. Выпустил несколько фантастических романов в жанре биопанна. Финалист «АБС-премии» (международная

премия имени Арнадия и Бориса Стругацких) за романы «Хлорофилия» (2010) и «Живая земля» (2011), участник шорт-листа литературной премии «Большая книга», четырехкратный полуфиналист литературной премии «Национальный бестселлер». В 2017 году стал лауреатом литературной

премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная русская проза» за роман «Патриот». Книги Андрея Рубанова переведены на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, сербский и болгарский языки.

Мое детство пришлось на 70-е годы. Военной прозы тогда издавалось много или даже слишком много. Безусловные шедевры, например роман Богомолова «В августе 44-го», запросто соседствовали с опусами Ивана Стаднюка и считались одноранговыми.

Кое-что из того, что я тогда внимательно прочитал, вовсе не надо было читать.

В результате я приобрел нечто вроде аллергии на книги о войне – честно в этом признаюсь.

Моим суперхитом подросткового периода был роман Анатолия Иванкина «Последний камикадзе» – роман этот (кстати, недурной) повествовал вовсе не о Великой Отечественной войне, шедшей на равнинах моей Родины, но о японских одноразовых летчиках, сражавшихся с американцами в те же годы, но на другом театре военных действий.

Хорошо помню: громадное впечатление произвел на меня роман писателя Николая Шпанова «Первый удар» в уникальном тогда жанре военно-политической фантастики, изданный еще до войны, в 1939 году, неведь как оказавшийся в книжном шкафу моей бабушки и там мною откопанный году в 1978-м примерно. Никогда себе не прощу, что утратил эту книгу. Главным героем ее был советский летчик по имени Павел Гроза. В романе описывался подземный аэродром, откуда самолеты выстреливались посредством катапульт. И еще много

других сложносочиненных фишек было в том невероятном романе. Главная идея его заключалась в том, что как только враг полезет – мы его тут же побьем на его территории, и пусть он будет оснащен всеми техническими новинками – он проиграет в моральном настрое.

А между тем Шпанов сам был боевой летчик, воевал в Первую мировую, рассекал небо на фанерном биплане, написал учебник для летных училищ, а Великую Отечественную прошел военным корреспондентом.

Хорошо помню объемистую, интереснейшую книгу мемуаров «Служу Родине» другого летчика, трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

Возможно, именно тогда оформилась моя любовь к военным воспоминаниям, к документальным свидетельствам в противовес художественным.

При том я хорошо понимал, что мемуары всегда содержат некоторый элемент вымысла. Понимал и другое: мемуары, как правило, записаны рукою литературного обработчика, секретаря. Но это ничего не меняло.

Читая книги о войне, я не желал видеть «художественную правду», я не хотел оказаться в специально созданном «художественном пространстве».

Уж если гнать вымысел – так гнать направо-налево, безоглядно, как делал это лихой сочинитель Шпанов.

Тем ценнее для нас
книги о войне,
написанные
непосредственными
участниками,
фронтовиками,
нашедшими в себе силы
и упорство вспомнить.

А если обходиться без вымысла – так лучше иметь дело с сухими фактами. В таком-то месяце такого-то года такое-то подразделение в количестве двух тысяч бойцов выдвинулось для атаки противника, и обратно никто не вернулся.

Я исхожу из банального довода, что реальность всегда шире наших представлений о ней.

Так вышло, что во взрослом возрасте самое сильное впечатление произвели на меня именно военные мемуары: жизнеописание генерала армии Василия Филипповича Маргелова, главкома Воздушно-десантных войск.

В армии Маргелов – без всякого преувеличения культовая фигура. Каждый десантник скажет, что ВДВ расшифровывается как «Войска Дяди Васи». Внутри этих войск Маргелова называют не иначе как Батя.

Он был профессиональным военным, спортсменом-лыжником, прошел всю финскую кампанию (одно время командовал дисциплинарным батальоном), а затем и Великую Отечественную от первого до последнего дня.

Пересказывать биографию бессмысленно: нужно просто почитать эту книгу, а заодно, при желании, и другие книги: Маргелов был человек с юмором и известен как автор многих сотен афоризмов, они тоже изданы. Шутки все сугубо военные, пацифистам непонятные, например: «Смерть не является оправданием для невыполнения боевого задания».

Но одну историю, самую удивительную, приведу здесь.

Маргелов возглавил ВДВ уже после войны.

Он не был создателем этого рода войск. Развитие десантного дела мешало отсутствие большого

самолета, такой самолет – АН-12 – поступил на вооружение только в конце 50-х годов. Самолет мог брать на борт 60 человек.

Маргелов мыслил исключительно идеями расширения, развития, он решил, что с воздуха надо десантировать не только солдат с автоматами, но и все прочее: от полевых кухонь до орудий и боевых машин. Такую боевую машину разработали и построили: БМД-1.

Машина десантировалась без экипажа, с использованием специальной парашютной системы, также созданной с участием Маргелова. Экипаж – два человека – прыгал отдельно.

Но Маргелов пошел еще дальше: он решил, что машина должна десантироваться уже с экипажем внутри и вступать в бой через считанные минуты после приземления.

Никто не верил, что такое возможно.

Первые эксперименты провели на собаках, собаки погибли.

Министр обороны Гречко лично запретил Маргелову продолжать испытания во избежание человеческих жертв.

Но Маргелов ослушался – и для решающего испытания использовал собственного сына, старшего лейтенанта Александра Маргелова.

Все прошло удачно.

Когда Маргелова-старшего спросили: «А что, если бы ваш сын погиб?» – генерал ответил: «У меня четверо сыновей, кто-нибудь долетел бы».

Это было не что иное, как жертвоприношение Авраама: отдать сына во имя веры, во имя идеи.

Ни одна армия в мире до сих пор не умеет десантировать боевые машины с экипажем внутри.

Я, кстати, был знаком с Александром Васильевичем Маргеловым и бывал у него в квартире, превращенной в музей памяти отца. И получил от Маргелова-младшего матерный нагоняй за неточности в написанном мною сценарии, посвященном Маргелову-старшему. Этот нагоняй меня совершенно не расстроил, я служил в армии и знаю, что без знания русского языка во всем его богатстве невозможно управлять ни взводом, ни дивизией.

Что такое война, мы все знаем. Нам примерно известно, почему люди на протяжении тысяч лет ведут войны, вместо того чтобы мирно выпивать и закусывать. Потому что жизнь – это конфликт. Первое, что делает новорожденный, выбираясь из материнской утробы – вступает в конфликт с новой для него и враждебной ему средой и кричит от страха и от холода. Люди вынуждены принимать войну, понимать войну, мириться с неизбежностью

новых и новых войн, с миллиардными расходами на новые вооружения. Парадоксально, гонка вооружений подталкивает технический прогресс в мирной области: лучшие инженеры работают на оборонных предприятиях, развитие военных технологий опережает развитие гражданских.

Баллистические ракеты нужны были в первую очередь для того, чтобы доставлять ядерные заряды, а уж потом для освоения космоса.

Если бы не война, массовое применение антибиотиков началось бы не в 1941 году, а на пять, а то и десять лет позже.

Вот и Маргелов – под его руководством была создана многокупольная парашютная система, она потом широко применялась в мирной космонавтике.

Наконец, последнее: следует учитывать, что писать книги о войне, хоть мемуары, хоть художественные, очень трудно. Так вышло, что и сам я участвовал в чеченской кампании 2000 года как гражданский специалист и при желании мог бы написать книгу о той войне, но делать этого не буду: не хочу вспоминать.

Тем ценнее для нас книги о войне, написанные непосредственными участниками, фронтовиками, нашедшими в себе силы и упорство вспомнить. Чем дальше от нас отодвигается наша самая страшная, Великая Отечественная, тем больше мы будем в них нуждаться.

Практика последних десятилетий показывает, что историю переписать не так уж и трудно: для этого даже не нужна команда от властей предрежащих и деньги тоже не нужны: достаточно просто **р а з р е ш и т ь**. Дилетанты, фантазеры, историки-надомники, популисты и шизофреники – тут же появляются в большом количестве, наводняя полки «исследованиями», «правдами», «неизвестными фактами». Так было у нас в годы распада СССР, так было на Украине.

История – тоже оружие массового поражения.

Поэтому: запомним имена людей, подставлявших головы под пули и бомбы, будем знать их книги, и художественные, и документальные, и выдающиеся шедевры, и нехитрые мемуары, будем рекомендовать их друг другу, и детям, и внукам.



САМАЯ ЛЕТЯЩАЯ КНИГА О ВОЙНЕ

ВИКТОР РОЗОВ.

«УДИВЛЕНИЕ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ. ВОСПОМИНАНИЯ» («АСТ», 2014)



ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ
Поэт, прозаик и эссеист.
Родился в 1968 году
в Москве. Окончил филоло-
гический факультет Москов-
ского государственного
педагогического инсти-
тута. В 2007 году в рамках
фестиваля «Территория»
избран королем поэтов. Был
автором и ведущим программ

о литературе на «Радио
России» и радио «Нультура»:
«Записки неофита», «Своя
колокольня», «Свободный
вход», «Воскресная лапша»,
«Поэтический минимум».
Автор множества книг стихов
и прозы.

Ему, молодому актеру, только-только окончив-
шему театральное училище, не очень успешному
(ролей нет и не предвидится), однажды по пути
в театр встретила цыганка. «Давай погадаем,
молодой-красивый?» – говорила она ему. Уже и ее
товарки его окружили и проходу не дают. Еле смог
отвязаться.

Пришел в театр и пожаловался на неприятный,
скучный инцидент. Жаловался ведущей актрисе. Она
выслушала его и спросила:

- А вы что, не верите в гадания?
 - Да кто ж в них верит? – Молодой Виктор Розов
верить не мог, да и не хотел.
 - А хотите, я вам сама погадаю?
- И Розов протянул ей свою левую руку.
Первая часть предсказания была неприятной.
- Насколько я вижу, вы скоро умрете, – посмотрев
на руку, сказала она. – Я вижу колебания между
жизнью и смертью. Но если вы выживете, то ста-
нете богатым и знаменитым, будете известны на
весь мир. И проживете тогда уже очень долгую-
долгую жизнь.

Розов руку свою отнял, ему стало смешно: он
даже улыбнулся. Но это предсказание сбылось.

Его действительно чуть не убили тогда.

«Тот единственный бой, в котором я принимал
участие, длился с рассвета до темноты без пе-
редышки. Я уже говорил, что описывать события

не буду. Да и все бои, по-моему, уже изображены
и в кино, и в романах, и по радио, и по телевизору.
Однако при всем этом боевом изобилии для каждо-
го побывавшего на войне его личные бои останутся
нерассказанными».

После этого все крики в праздничных послево-
енных ресторанах (он пишет жестче: «в кафе-моро-
женом») Розову кажутся дрянными и даже гнусными.

«...Причастившись крови и ужаса, мы сидели в о-
раге в оцепенении. Все мышцы тела судорожно сжа-
ты и не могут разжаться. Мы, наверно, напоминали
каменных истуканов: не шевелились, не говорили и,
казалось, не моргали глазами. Я думал: “Конечно,
с этого дня я никогда не буду улыбаться, чувство-
вать покой, бегать, резвиться, любить вкусную еду
и быть счастливым. Я навеки стал другим. Того – ве-
селого и шустрого – не будет никогда”».

Еще задолго до боя, когда они рыли с товарищами
противотанковый ров, а потом был объявлен отбой,
и бойцы сидели на берегу вечерней речки, и всем
ужасно хотелось есть, а солдатский паек скудный,
некоторые даже скулили от голода. И вдруг смо-
трят – а к ним бежит их товарищ, почему-то без
гимнастерки, гимнастерку несет в руках, а в ней,
как в кулке или в ловушке, что-то живое.

– Смотрите! – кричит он им как победитель.

Разворачивает гимнастерку, и в ней живая дикая
утка.

...Все бои, по-моему, уже изображены и в кино, и в романах, и по радио, и по телевизору. Однако при всем этом боевом изобилии для каждого побывавшего на войне его личные бои останутся нерассказанными.

Поймавший утку захлебывается от восторга:

– Вижу: сидит, прижалась за кустиком. Я рубаху снял и хоп! Есть еда! Зажарим.

«Утка была некрупная, молодая. Поворачивая голову по сторонам, она смотрела на нас изумленными бусинками глаз... Она просто не могла понять, что это за странные милые существа ее окружают и смотрят на нее с таким восхищением... Все залюбовались красавицей. И произошло чудо, как в доброй сказке. Кто-то просто произнес:

– Отпустим...»

И отпустили.

А потом был тот самый единственный в жизни Розова бой.

«Потрясение было, может быть, самым сильным, какое я испытал за всю свою жизнь. Как ни стараюсь я сейчас воссоздать его в себе и снова почувствовать пережитое, не могу. Только помню. Немцы окружили нас, били из всех видов оружия... А мы пытались куда-то прорваться из последних сил. Товарищи падали, один за другим, один за другим... Юное красивое лицо медсестры Нины было сплошь усыпано черными осколками, и она умерла через минуту, успев только сказать: “Что с моим лицом, посмотрите”. И не дождалась ответа...»

«Но я выжил и живу. Зачем? Почему судьба бережет меня? Что я должен сделать?»

Так спрашивает Виктор Розов, и жизнь ему отвечает, что. Пережить все это и это потом описать.

В 1956 году Олег Ефремов поставит в «Современнике» его пьесу «Вечно живые» (ее Розов напишет еще в 1943-м, когда будет находиться в отпуске по ранению в Костроме), а потом в 1958-м выйдет

фильм по этой пьесе, «Летят журавли», и Розов станет всемирно известным: фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, и вот это уже настоящая летящая белоснежная слава.

Но до этого много еще чего. Даже памятного, бытового:

«...Купил я в молочной на Метростроевской немножко масла, сыру, творогу и банку сгущенного молока, а в булочной – батон за рубль сорок копеек. Вчера этот батон, если не по карточкам, стоил сто рублей. Принес все в келью, и мы, повизгивая от восторга, принялись за этот по-настоящему первый послевоенный мирный утренний чай».

И потом тоже много чего еще будет. И «по самому скромному подсчету, мне около ста лет». Эту фразу Розов роняет в своих воспоминаниях. А актриса все не отпускает и не отпускает его руку. Как будто действительно что-то видит там. Как будто на самом деле хоть что-то можно по нашей руке прочесть.

...Но я выжил и живу. Зачем? Почему судьба бережет меня? Что я должен сделать? Кого я должен еще отпустить?



| Юность № 5
| Май 2020

| Тема номера:
| Наша победа

БЫЛОЕ И ДУМЫ

«СЛОВО ДОЛЖНО БЫТЬ КРАСНО УКРАШЕННОЕ»

К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ЛИЧУТИНА



СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ
Писатель, журналист, теле-
ведущий. Родился в 1980 году
в Москве. Главный редактор
журнала «Юность». Лауреат
премии Правительства Россий-
ской Федерации в области
культуры, национальной премии
«Большая книга», независимой
премии «Дебют» в номинации
«Нрупная проза», государ-

ственной премии Москвы
в области литературы и иску-
ства, итальянских премий
Argosbaleno и «Москва-Пенне»,
Горьковской литературной
премии, дважды финалист
премии «Национальный бест-
селлер». Заместитель пред-
седателя Союза писателей
России. Член президентского
Совета по русскому языку.

Друзья зовут его Личутна. В этом имени и лучина, и шутна, и чудо, и виден он весь: с лукавым и зорким синим глазом.

Онающий говорон, звонкий, пронзительный голос, чудится, вот-вот сорвется на поморские причитания.

Проза Личутина стройна, загадочна и чарующа, будто заговор (неслучайно одна из его повестей называется «Последний колдун»). Порой теряешь нити смысла, но всё хитросплетение подчинено какой-то тайной цели, как и вязание донного невода с затягиванием сложных узлов уже обещает плеск и трепет пойманных жизнью...

«Сначала под сугробами заточились ручьи, хлопотливо завозились, как цыплаки под наседною, но в каную-то неделю слизнули с тундры студёные смертные покровы, и вода-снежница, что не нашла ходу в Печору, скоро скопилась в низинах, в логах под веретьями, в мерзлых болотинах и чахлах воргах, разлилась в широние, рябые под ветром прыски...»

Не всё понятно, но всё зримо до одури, щеночет весенний ветерон. Иногда думаешь, а уж не подтрунивает ли он над читающим, так близко собрав причудливые словечки, да и не разыгрывает ли? Все ли эти слова в самом деле существуют?

Почти невозможно поймать его на неточности, но личутинское обращение к корневой лексике — это не работа филолога, окруженного надгробиями словарей, а вдохновенное волхвование. Он воскрешает далеких преднов с их удивительной узорчатой речью, он отдается на волю поэтической стихии народной души и, воспламенившись, в одно насение делает очередную мертвую окаменелость жаркой и сладкой. Отсюда и всегдашнее обитание в его прозе лиц и судеб самых разных поколений, каную вещь ни возьми — «Белая горница», «Душа горит», «Дивись-гора», «Вдова Нюра», «Любостай», «Душа неизъяснимая», «Раскол»...

Не всё понятно, но всё зримо до одури,
щекочет весенний ветерок. Иногда
думаешь, а уж не подтрунивает
ли он над читающим, так близко
собрав причудливые словечки,
да и не разыгрывает ли? Все ли эти
слова в самом деле существуют?

Скрытный, как всякий чудодей, он лишь сознается, что северное краснословье осело в нем, «как ил на дно рени». Судя по всему, взбаламучивает себя, выворачивает донное богатство, уходит в маревое полузабытье, и тогда на страницы хлещут и льются таинственные райские глаголы.

Личутин пишет не предложениями — отдельными словами, которые звонко лобызаются, христосуются друг с дружкой, как пасхальные богомольцы в огромном храме.

Это не просто возвращение благозвучных, мало кому знакомых слов, обычно сопровождаемых сухим довеском «устар.», не просто непрерывная манифестация архаики. Личутин — литературный новатор, в чьих писаниях — претензия на революцию стиля. Одним словом он дает второе рождение, другие вынашивает, рождает и вскармливает самолично. Точно «речетворец»-будетлянин, для которого неизведанное грядущее смыкается с диновинным прошлым, он свободно и смело играет языковой гущей.

К этой прозе можно было бы присобачить химическую фразу «суперэстетизм», но и определение «любование красотой» излишне. Личутин не наблюдатель, он, пожалуй, и не любит, он даже отказывается оценивать, что есть красота, он стремится, не рассуждая, слиться с природой во всей ее естественной полноте. Природа — главная героиня всех его книг — отстраняет и делает неважными мысли, характеры, сюжеты, потому что и люди-простецы, крестьяне, rybани, охотники, и их скромный честный быт — продолжение природы.

«Только на Севере метафор снега около ста двадцати!» — воскликнул писатель в нашей беседе. Однако метафоры ли это в привычном понимании?

Он — переводчик с природного на русский. Музыка, которую он, как сказал мне, однажды уловил и ловит с той поры, есть музыка природы, где сквозь мнимую нарочитость и даже вычурность («еста», «снорнать», «шолнуша») доносится шорох волн, крыканье уток, безмолвные плачи рыб...

Много ли личутинских страниц отведаешь за один присест? Ну, кто как. Книжки не для всех. Снажу за себя: впитываю эти речные и луговые, и лесные, и беломорские пейзажи, как будто вижу их вживую, и не всякое понимая слово, чувствую сердцем — «синют гривы дальних

суземнов», «носо парусит мрелое солнце», «зыбятся отроги сугробов» — и, сам не замечая, всматриваюсь снова и снова в один и тот же абзац, в нем растворяясь.

Помню его в храме, притихшего и неспешного, затеплившего свечу, которую он, попадая в ритм протяжного хорового пения, мягко ввинчивал в гнездённо латунного подсвечника подле старинной иконы Николы Угодника.

Помню его ярым и диним. В каком-то писательском застолье кто-то затеял водочную драку. Первым бросился разнимать Личутин, ловкий, юркий, неожиданно сильный. Взорвалась стеклянная дверь, а он стоял, мал да удал, разметающий всех по углам, и хохотал из золотисто-рыжей бороды, с ногами, посеченными осколками, в окровавленных штанах.

Помню его среди голубоватых сугробов, на солнечной опушке, глядящего нежно в небо, с шерстяной шапкой в руке, внутри которой спряталась тайна — может, найденный зимний гриб, а может, подаренная лесом сто двадцать первая метафора снега.



ПОКА СОЛДАТ ЖИВ

ПАМЯТИ ЭДУАРДА ЛИМОНОВА

Он верил в мистину судьбы. В ютубе есть видео: автозак с номером 2020, на котором полицейские увозят его после очередной акции на Триумфальной...

В последнюю встречу он сказал с хрипловатым смехом:

— Уезжаю в Индию!

Я позвонил ему за несколько дней до смерти, потому что он, вопреки обыкновению, не отвечал на почту, и я не знал, что он в больнице.

Он не сразу подошел, гудки мне показались длиннее обычного, было плохо слышно, голос был плохо различим.

— Вы в Индии? — прокричал я.

И мне так услышалось, что он подтвердил.

«В Индию Духа купить билет...», помните, у Гумилева?

Перечитываю переписку с ним по e-mail. Каждое письмо, самое короткое — законченное произведение.

«Сидите в ГД?

Скучно, наверное?

Приходите, Сергей!

Крокодилы мясо у вас есть?

Нужен хвост, сделаю отличный крокодилий стейк.

Ваш,

Э. Лимонов»

Лимонов — это всегда «интерес к себе», как он выразился в одном письме из Лефортова, и говорить о нем хочется через себя.

С Эдуардом странно связана вся моя жизнь.

Меня еще не было на свете, а он еще не уехал и пришел домой к моим родителям, на Фрунзенскую набережную. Нудрявый юноша провожал к моему папе-священнику его духовную дочь Анастасию Ивановну Цветаеву. Лимонов легко вспомнил тот день, когда я ему сказал.

Он эмигрировал, а волею судеб к моему отцу приехала за пастырским советом брошенная первая лимоновская жена, безутешная Анна, и стала присылать из Харькова большущие письма.

Когда мне было десять-одиннадцать, некоторые прелестные и трогательно-детские стихи Лимонова («Вот хожу я по берегу моря...», «А я всегда с собой...») мне нараспев читали Бачурины, Евгений и его жена Светлана, в свое время перепечатавшая их на машинке и близко дружившая и с Эдуардом, и с его Еленой.

В тринадцать лет, осенью 93-го, я сбежал из дома на баррикады и, блуждая среди толп и дыма костров, встретил Лимонова в бушлате и в камуфляжной кепке и в крупных очках, уже прошедшего несколько войн.

Мне было четырнадцать, когда у него появился штаб — бункер на Фрунзенской. Подвал под отделением милиции, где я впоследствии получил паспорт. Я не записался к нему в партию, но ждал каждый номер его газеты, и тогда же стал ходить на его еженедельные лекции в подземелье, которые сразу же обозвал «встречи с классиком». Помню, как побывал на первой его акции — Дне Нации, прогуляв последние уроки, и недавно узнал себя на снимках: пацаненок со школьным портфелем за плечами.

Лимонов всегда был за Родину и за свободу, и если это понять, то мнимые противоречия отступают, и история его сражений становится ясной и последовательной.

В это же подростковое время я запоем прочитал его романы, рассказы, стихи, публицистику, и все это взрывало мозги и переворачивало сердце. Когда читаешь Лимонова, кажется, что через тебя ток идет, и оторваться уже нельзя: смертельно, сладостно, жутко, величественно. Стихия, которая захватывает целиком.

Поколение, да и не одно, вышло из его солдатской шинели. Лимонов — отец армий одиночек. Он сохранил в себе в избытке и детское, и юношеское, и оттого его так любят и будут любить молодые.

Когда он уехал на Алтай, среди двенадцати его приближенных учеников-«партизан» оказался мой двоюродный брат Олег Шаргунов, житель Екатеринбурга. В 2001-м на Алтае Эдуарда арестовали, обвинив в подготовке восстания русских жителей Северного Казахстана...

Свой первый роман о любви, вдохновленный его первым романом, я, можно сказать, посвятил ему, отдав в 21 год всю премию на его адвокатов. В сущности, так начался мой путь в литературе.

Однажды он подарил мне книгу Illuminations с надписью: «Человечу, который нас никогда не предал».

Ему и 7, и 17, и 77 навсегда.

Он мог написать в своем ЖЖ «Мой ультиматум», и, несмотря на орфографическую ошибку, этот текст был политически значительнее любых партийных манифестов и художественнее большей части современной прозы.

Лимонов осмелился быть самим собой.

Отвага, недостижимая для большинства даже хороших писателей.

Таких, как он, никогда не было и не будет. Самый смелый и самый свободный. И предельно честный. «Патологически честный», — как он сам говорил.

Он бежал всего скучного и банального. Аристократ духа, он не терялся, попадая на любую почву, и почва его поддерживала (хотя

оставался верен русской почве). Он легко и вольно чувствовал себя в любой обстановке — на рабочей окраине Харькова, в богемных кружках советской Москвы, в Нью-Йорке, в Париже, в воюющей Сербии, в окопах Приднестровья, на баррикадах, в тюрьмах, на светских раутах — потому что никогда не был привязан к вещам.

Кстати, неприязненное отношение к Лимонову — безошибочный показатель мещанства и мертвости. И в политике, и в литературе.

Лимоновский природный дар — точность и свежесть пойманных слов, образов, ритма. Он писал быстро и набело. Он выдавал тексты без воды, чистый спирт.

После каждой его книги всегда было сложно что-то еще читать. Все казалось ненастоящим.

Он доказал, что написанное слово еще может сводить с ума. Он не просто имел свой голос, он поменял отечественную литературу — лексику, темы, стиль. Внес в нее живой разговорный язык улиц. Настоящая революция.

Автор изысканных стихов. Автор невероятной прозы. Мыслитель и провидец, придумавший лозунги, идеи, мечты и для государства, и для оппозиции. Блестящий полемист. Воин, предводитель огромной всероссийской дружины. Эстет в смокинге и с бокалом шампанского, окруженный лучшими женщинами, и он же — аскет, дервиш-бедняк, не имевший в собственности вообще ничего, всю жизнь на съемных квартирах. Великий посторонний, который навсегда остался неудобным, непонятым, раздражающим.

Лимонов весел, но трагичен, задает главные вопросы. В откровенности им написанного есть таинственное мужество сакральных текстов. Он срывает покровы иллюзий. Ведь человек не знает, откуда пришел и куда идет. И страдает, лишенный подлинного. И вдруг его жалит лимоновский глагол. Сколько, как в древности, воспламененные проповедью, оказались готовы бросить все и стать другими...

Лимоновский острый интерес к себе, на самом деле, — это интерес к мирозданию. Мнимый его нарциссизм — отчаянное утверждение всего рода людского и самой жизни наперекор абсурду распада. В его демонстративном самовозвеличивании всегда что-то от самоуничтожения. Лимонов победно, ярче всего повествовал о предательствах женщин и товарищей, об обидах, переживаниях, о проигрышах и провалах.

Как-то, помню, он стоял возле здания, где судили его молодых друзей, было ветрено, серо, подскочила журналистка с намерой:

— Представьтесь, пожалуйста.

— Я никто и звать меня никак... — с насмешливой горечью прошелестел он на ветру.



| Юность № 5
| Май 2020

| Тема номера:
| Наша победа

ПОЭЗИЯ



МАНСИМ АМЕЛИН

Поэт, переводчик, литературный критик и издатель. Родился в 1970 году в Нурсне. Учился в Литературном институте имени Горького (семинар Олеси Николаевой). Главный редактор издательства «ОГИ». Лауреат премий «Поэт», «Антибунер», «Московский счет», Бунинской премии, Премии имени А. Солженицына.

УРОК ГЕОГРАФИИ 1980 ГОДА

Анна Федоровна, строгая географичка почтенных лет в курской школе № 7 на углу Дзержинского и Чернышевского, учившая еще в середине 50-х моего отца в трудовой семилетке на Цыганском Бугре, уркаганской 8-й, начинала урок: буравила в поисках подходящей жертвы сквозь узкие стекла полупустые лица и одного беспомощно плавать выдергивала к доске, где висела карта мира с речными прожилками, зеленея равнинами, коричневая горами, океанами голубея.

«Ну-ка, ты вот давай нам реки сибирские покажи, Обь, Енисей и Лену... Они не в Южной Америке протекают... И в Африке незачем их искать... Что ты тычешь указкой без толку?.. Не возюкай по карте, садовая голова... Где Сибирь?.. Не лупись... Где три четверти года холодно? Наконец-то... На тройку с натяжкой... Где Альпы?.. Где Пиренеи?.. Вот... Нашел... Молодец... А теперь пять великих озер... Как их там?.. Э-ри... Ми-чиган... Гу-рон... Он-тарио... Вер-хнее... Прекрати шмуругать ногами...» – и так далее в том же духе.

Каждый учитель считает важнейшим предметом свой, будь он ученику бесполезен хоть трижды, хоть четырежды, – вот, казалось, зачем иностранный язык, если каждый твердо знал, что в жизни ему не понадобится таковой, потому как в любом нестоличном городе вероятность на улице встретить заезжего чужеземца равнялась нулю, да и вряд ли стоит с ним заговаривать, а то соответствующие возьмут органы на заметку – потом своих не узнаешь; а в географии для того, кто живет по прописке, нет никакого проку.

Будь готов, развивайся, совершенствуйся, небывалых высот достигай в теории, но заруби себе, что на практике ты никогда ни Парижа, ни Рима, ни Лондона не увидишь как своих ушей, не почувешь страны под собой, вот и читай между строк, рассматривай черно-белое вместо цветного, играй в города, решай кроссворды, наших знай, а с не нашими – лучше держи востро, в корень зри, заучи назубок прописные истины: курица не птица, работа не волк, потребитель не созидатель.

Что здесь верно, что нет – разберись и нужное подчеркни:
ограниченное право выбора приятней его отсутствия,
как самостоятельная куда предпочтительней любого диктанта, –
вот и Анна Федоровна, скорее всего, как жена
ответственного работника, в ГДР, Болгарии, Польше, Венгрии,
сомневаюсь, что где-то еще, ну может, в Монголии, побывала,
да и по самой прекрасной и самой большой на Земле,
я не уверен, что довелось особенно ей проездиться
вдоль и поперек, из конца в конец, от края до края.

Мне, счастливцу, ее уроки запомнились хорошо,
ничему не способному выучиться, сам пока не потрогаю,
на шкуре своей не проверю, не увижу собственными глазами,
а иначе слаба моя вера, и вот, сорок зим спустя,
мест обжитых и безлюдных обшарив немало, я выяснил,
что мир существует воистину, самолетами сшито пространство, –
видно, сжалился неспроста надо мной все милостивый Господь,
попустив убедиться на опыте в том, что не зря картографы
свой проедают хлеб, не напрасно штаны протирают.



ОЛЕГ ЛЕНМАНОВ

Родился в 1967 году. Доктор филологических наук, победитель премии «Большая книга» (2019), автор более 700 опубликованных работ. Стихотворение публикуется впервые и, как утверждает, в последний раз.

* * *

Анноте

Который день подряд
В Москве погода «Питер»:
Прохожие глядят
На мир сквозь тусклый фильтр.

Здесь с братцем-февралем
Взбесившийся ноябрь
Над пьяненьким бомжом
Кружится в dance macabre.

Вот – фон. А вот и он.
«Здорóво, herr professor,
Веселый салабон
На службе у прогресса.

Куда, мой друг, прыг-прыг,
Не убоясь стужи,
Ты скачешь? В лавку книг?
Или к друзьям на ужин?

Иль на журфак-филфак,
Лить свет и сеять разум,
На три занятия (fuck!)
Опаздывая разом?»

«Домой, там сериал,
Там Стерн, sauternes и Пушкин.
И Генделя хорал
Поет: “Меня послушай!”»

.....
Он дома: в чашке чай,
А в уши вставлен Гендель.
Но стынет чай, и хор зачах,
И не спасает Гендальф.

Который день подряд
С экрана светят снимки
Той, чей он ловит взгляд,
Чьи милые ужимки

Один оставшись, он
Никак не может вспомнить.
И чай не в чай, и сон не в сон,
И жизнь, как сладкий омут.

Ах, брови-собольки,
Угля оттенков тыща.
Ресницы в полщеки
И в пол-лица глазища.

.....
Все валится из рук,
Служить не хочет слово.
Один facebook мне друг,
Мой голубок почтовый.

Шепчу: «Приди ко мне...»,
Скользя по первопутку.
И хмыкаю во тьме,
Твою припомнив шутку.

2012



НЕЛЮДИМЫЙ МЕТАРЕАЛИСТ

(ДРУЖЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
К ДОЛГОЖДАННОЙ КНИГЕ)

СЕРГЕЙ РЫБНИН

Родился в 1995 году в Воронеже. Поэт. Финалист Национальной премии «Русские рифмы» (Санкт-Петербург), Всероссийского форума имени Н.С. Гумилева «Осианное слово» (Москва, Переделкино), Всероссийского конкурса «Зеленый листок» (Тверь). Печатался в журнале «Подъем», в интернет-изданиях «Сетевая словесность» и «Прочтение».

В день рождения Пастернака, 10 февраля, в издательстве Воронежского государственного университета тиражом в 300 экземпляров вышла книга стихотворений Сергея Рыбнина «Вдали от людей». Первая книга поэта.

Сзади на обложке отзывы. Московский поэт и литературный критик Борис Нутеннов называет поэзию Рыбнина сложной в своей открытости медленно разворачивающемуся смыслу, основанной на неброском синтаксическом параллелизме. Герметическим метареалистом, работающим в неомодернизме, определяет его уральский поэт и литературный критик Юлия Подлубнова. Указывая, впрочем, на некоторую традиционность формы и содержания.

На первой странице — эпиграфом ко всей книге — четверостишие:

*как хорошо себя толкнуть
остановить на грани
о эта нежность это жуть —
я ранен*

Честное и довольно точное самоопределение. Поэт Сергей Рыбнин (не хочется говорить «лирический герой»: в случае с Рыбниным происходит почти полное отождествление земного и небесного) всегда на грани: комнатного и за-оконного (окно — главный символ-образ поэтики), пригорода и города, снега и дождя, речного луга и леса... И — наконец — речи и молчания: «Молчи и помни, сдерживай поток, // безумный мальчик, плачущий у окон...»

Речь — это слитные слезы, крупные капли, похожие на слепых стрекоз, сбивающих друг друга. Слово — божественное, рассыпанное в траве. Река, как игла, продевает ворох звуков, и появляется голос.

Странный, неразборчивый, сбивчивый, далекый.

Из-за этого, конечно, немало случайностей и неточностей. Не расслышав слова, не до конца разглядев образ, он все равно говорит. И делает это открыто: ничего не добавляя от себя, земного. Иной раз получается даже не речь половодья, равная бреду бытия (по Пастернаку), а небесный, неясный, брезжущий сумбур, с трудом переводимый Рыбниным на человеческий язык.

Впрочем, не так и важно, о чем, главное — говорить.

*это все о воде и Ржеве
как о ржавчине и трубе
это нежно течет железо
как слеза по твоей губе*

Заговаривание (даже — забалтывание) мира. Потому что так легче. Переждать ночь и немоту. Пережить разлуку. Стихи как рефлексия. Не долг перед воздухом и светом, но разговор о себе и для себя. Само-спасение. Наверное, это и есть чисто поэтическая задача: спасешь себя, получится спасти и других.

*белый лист и простой карандаш
словно хлеб с молоком
помогают держать эту жизнь
и держаться*

Явна не (с)только традиция, сколько преемственность. Поэт невольно называет своих любимых, делает это с нежностью: «и ржавчина кругом и желтизна» (Сергей Гандлевский), «на голосе и глоссе продержжусь» (Олег Чухонцев), «предчувствие стихов светловолосых...» (Григорий Поженян). Об Ольге Седановой он говорит прямо: «Седанова // как молитва...»

Несказанного у него, кажется, и вовсе нет: идя за звуком, он произносит все. Может быть, и лишнее: «Золотистый, злободневный, зол, зола // сожженной травы, вчерашнего лета прореха...» Но здесь же появляется и другое — постмодернистское, смелое и откровенное, — «тучи небо мглою кроют, // как понятые моей беды».

Как бы заранее обреченный на трагедию, на одиночество и непонимание, Сергей Рыбнин все-таки стремится к ней. Желанной и едва пред-ставимой.

И все стихи — от этой не-случившейся.

Вопреки ей.

Ради нее.

Василий Наценцов

ИЗ КНИГИ «ВДАЛИ ОТ ЛЮДЕЙ»

* * *

Мы оттаяли к лету, но воздух пропарен и влажен.
Хочешь криком сорвать прошлогодний побег – пробеги
по сожженной траве, рукавом зацепиться о сажу
и упасть в темноту, за которой начало строки.
Словно черная нитка натянута перед глазами,
это – смелость, которой учиться еще и учи...
это точка, которую нам еще не показали,
о которую мы, опираясь, по буквам стучим.
За проход в никуда неизбежная плата, ты ранен –
хочешь музыку выдохнуть, дудочкой стать неземной,
и идешь по земле с этой дудкой в нагрудном кармане,
говоря-говоря-говоря-говоря сам с собой.

* * *

Как страшно жить, когда ты в наготе,
в распахнутом окне под сквозняками,
и ночь рисует солнце в темноте
чернилами густыми. Ходят сами
по комнате предметы, говорят
о завтрашнем полете, о вчерашнем
падении, и лампочки горят
над миром, путеводными не ставши.
Мне дышится прерывно и внатяг,
чужие люди шепчутся у окон,
влюбленные над городом летят
и выют из яблонь яблоневого кокона.
Но сколько их, летящих надо мной,
сцепившихся и спрятанных на крышах?
Любовь стучит как будто домовый...
Я ничего не слышу.

* * *

Строчкой леса заштопанный край, вдали от людей
живешь, подуваешь в дуду, вызываешь созвучья,
ты сам же вода, но притягиваешься к воде,
как будто тебя обуздало веление щучье.
Выходишь к реке, от промоин – журчанье и хруст,
срывается снег с камышей, тебе кажется – чайка,
и в клюве ее золотистый прикушен подуст,
густая вода закачалась, как кресло-качалка.
Вот так и живешь, ради качки и взмаха крыла,
измеряя на глаз траекторию птичьего взлета,
даже если мне жизнь показалась – совру, что была
только здесь, и, наверное, значила что-то.

* * *

речь воды – это слитные слезы
это крупные капли разжавшихся волн
так друг друга сбивают слепые стрекозы
когда полдень травой уже заговорен
солнце выпало в небо и на гамаке
раскачалось, лучами под ноги швырнуло
я морщину увидел в дрожащей строке
эту зрелость и злость стихотворного гула
как бы выпасть в траву, виноградом врасти
в эту вязку зеленую, сонную тяжесть
в эту часть обреченной на муки Земли
разделенную памятью-памятью на шесть

* * *

Рассеянный вызов, захочется в небо смотреть
и мглу пробивать, говорить о любви и о смерти,
как с воздухом голос вплетается в тьмы круговерть!
как рады в рядах пополнению твари и черти!
Не-ангел с трубой, говорящий о боли, об истине,
печальный дурак, обчасованный временем гость,
здесь ветер большой, как мне малому нежному выстоять
и к небу нести свежих слов неподъемную горсть?
О ласточках-ножницах, режущих воздух в полях,
грудной тесноте, густоте травянистого гула,
о том, чтобы жить, в трудовых застревая солях,
и не-навести на висок бесконечное дуло.

* * *

Проторена почва прорвавшейся зеленкой,
мы – руки за спину – бескрылые птицы,
мы повторены и сомкнуты в движенье-кольцо,
как велосипедные спицы.
Вылавливать ветер, пытаться его заземлить,
держаться от силы примкнувшего слова,
себя самого у печали твоей отпросить,
как ученика с урока из школы.
Прожить еще год, оглянуться, сорваться с земли
и вылететь в синюю форточку телепортала,
за прошлым, как жили, как землю в ногах берегли,
ты той же травой эту почву к полету толкала.
Случилась и будущность – шар совершил кувырок,
цветами раздергана послепожарная рощица,
я посадил сад, чтобы воздух был яростен, широк –
держал тебя там на весу – босоногую летчицу.
Какая теперь непогода на небе ледовом,
взметнувшийся ввысь наболевшего взгляда овал,
мне воздух весенний покажется снова знакомым –
он каждый твой шаг повторял.

* * *

Молчи и помни, сдерживай поток,
безумный мальчик, плачущий у окон,
где только мгла сочится в потолок
и сединой поблескивает локон.
Как будто нет и не было воды,
и ночь еще не выбита дождями,
космическое тело немоты
прибито наспех к облаку гвоздями.
И только слышишь, как оно сквозит,
и не уснуть и не отгородиться,
сверканье звезд, как спаиванье плит,
и мышь летучая, как птица.

* * *

Какое одиночество – кормить птиц
в центральном парке на стыке улиц,
где только листья летят, как блиц,
как страшно осенью караулить
асфальт блестящий, скрипящий шаг,
мельканье ног в тротуарных клетках,
и, теплой книгой в руках шурша,
перекликаться с листвой на ветках.
Легко и грустно как никогда,
сидишь бездомным и просишь милость,
и всюду в цвет серебра вода,
и речь молчанием претворилась,
как будто ангелы сняли трубки,
сложили в спичечные коробки,
а мне курить, поджигая губы,
и вместо музыки – огоньки.

* * *

ругаться матом чтобы отлегло
волнение горячее грудное
как этот воздух солнцем пропекло
какая тень плетется за тобою
здесь кто-то был на этом островке
реликтовом, из вечности сигналил –
завесил небо шторкой на окне
и звезды словно колышки расставил
так каждый раз – всмотреться в темноту
я не могу
по очертаньям света
глаза определяют высоту
далекого оставленного лета



ОЛЬГА АЛТУХОВА
Родилась и живет в Москве.
Окончила филологический
факультет МГУ имени Ломо-
носова по специальности
«английский язык и зару-
бежная литература», рабо-
тает преподавателем.
Участница Междунаро-
дного ежегодного фестиваля
современной поэзии MyFest
(2015, 2019). Автор книги
стихов «Ножа и душа» (2014).
Публиковалась в журнале
«Стержень», в сетевых изда-
ниях «Полутона», TextOnly.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дрожит машина братьев Райт –
Мотору верная фанера;
Но инженер на инженера
Глядит уверенно: alright!

Еще не время для войны,
И небеса обетованны;
Но обещают расставанья –
И обещаниям верны –

Три неделимые оси,
Осенних дней гроза и диво.
На синем блюде объектива
До нас, фотограф, донеси

День первый и последний день –
Где блещет тучка золотая
И век летит, перелетая
Из света в тень.

* * *

Переменив обряд и норов,
наряд положенный надев,
на положении non-native
ты пребываешь не у дел.

Положим, доля эмигранта
неутешительна, пока
приходится на горстку грунта
родного – пригоршня песка

заморского; зато вершина
горит, и манит высота:
затем, что жизнь несовершенна,
точнее – не завершена,

но выражается перфектом
ее движение вовне –
и непреложным этим фактом
оправдана вполне.

* * *

Город не сдал позиции. Город пуст.
Столп и досель соседу грозит, как перст.
Ангел часу в шестом заступил на пост,
выпрямился в рост.

Справа, в Разливе, в ступке елозит пест,
«шоб вам...» – ворчит чухонка и морщит нос.
Ангел крестом замахивается: «Брысь!
Ты это дело брось!»

Слева, в заливе, злится веселый бриз
и с боссановой схлестывается блюз.
Мне ничего не видно ни вдаль, ни вблизи;
мокрая прядь волос

лезет из-под фуражки (к чертям устав).
Мой часовой ни капельки ни устал.
«Быть ли пусту, служивый, месту сему?» –
я говорю ему.

«Быть – золотым и пламенным! Нынче в пол-
неба пылает адмиралтейский шпиль;
вон у Петра и Павла петух пропел –
враг уже отступил,

Стражу несет отряд у морских ворот
триста-который-год».
Он поправляет форменный отворот.
Смотрит вперед.

* * *

А когда на рассвете лег
ветру в ноги зеленый луг –
Сводом выгнулся потолок,
Изогнул односкатный лук.

Вьется весточка на стреле,
что нацелена в облака:
«Мы в осаде. Пошли земле
хлеба, яблок и молока;

пропитания – до зимы;
подкрепления – за плечо;
и тогда, обещаю, мы
простоим еще».

* * *

Навалило снегу – до *крайней Тулы!*
А на днях ко мне намело Катулла.
Он, болезный, плюхнулся мимо стула,
был измучен и удручен,
говорил: «Послушай, какое дело:
Passer mortuus est meae puellae,
Passer, deliciae meae puellae... –
Ну а я-то, а я при чем?»

Я чайку на кухне сообразила,
но поэт не пил и глядел уныло.
Говорил, что милая изменила,
что ни совести, ни стыда,
говорил: «Совсем расшалились нервы:
До того люблю – придушил бы стержу.
Не беда, что я у нее не первый:
Не последний – вот в чем беда!»

Поняла я с ходу, что дело худо,
говорю: «Послал бы ее... послушай,
поселись поближе, возьмишь-ка лучше
за родной Геликонский гуж,
потому как бабы у нас не хуже.
А в четверг Вергилий зайдет на ужин –
будет выть про *битвы* и ныть про *мужа*
(если только позволит муж)».

Только тут Катулла как ветром сдуло:
То ли зря я мужа упомянула,
То ли тень Вергилиева мелькнула
неэпически перед ним?
Облачен в диванное покрывало,
он смотался, словно и не бывало,
в направлении Киевского вокзала
поджидать электричку в Рим.

Навалило снегу снаружи добро!
Поднялась я с рожею дуже храброй,
отложила книжку, взялась за швабру:
разобрали совесть и стыд,
потому – в прихожей пора прибраться,
а не то припрется какой Гораций...
Ради мужа можно б и не стараться,
Но поэзия не простит.

CHIBA
CITY BLUES

Куда не следует нос не суй
и ереси не неси.
В люминесцентной сети Нинсей
(Night City; long time no see* –

и не видал бы еще сто лет) –
прожектор в пустом порту
лучом, отточенным, как стилет,
врезается в темноту.

Прищурившись, из последних сил
высматриваю кусок,
в кислотной мороси Тиба-си
прожженный наискосок:

над тусклыми куполами, над
осколками облаков
колючий блик, опалив зенит,
качнулся и был таков.

Пускай в стотысячный раз пусты
карманы – спасибо за
неоновую фрезу звезды,
прорезавшей небеса,

за то, что отблеск ее дрожит
на плоскости голубой;
за право – может, и не прожить,
но сдохнуть самим собой.

* Ночной город; давно не виделись (англ.).

* * *

Не обману, не изменю
земной косноязыкой твари.
Как эти звери, горы, травы
произрастали без меня?

О чем – во сне ли, наяву –
стонал залив, обледенев, и
переговаривались нивы
без перевода моего?

И днем и ночью начеку:
В ущелье вздрагивают глыбы,
Ворочаются бычьи губы,
Ворчат горошины в стручке,

но строчкой тянется горе
через нагорья и равнины
над горечью непониманья –
прямая речь.



ТИХОН СИНИЦЫН

Родился в Севастополе в 1984 году. Учился в Ялте и Севастополе на художника. Окончил аспирантуру в Гуманитарно-педагогической академии (Ялта) по специальности «социальная философия». Автор двух поэтических книг: «Частная тетрадь», «Рисунки на берегу». Член союза писателей России. В настоящее время готовится третья поэтическая книга «Бескрайняя Таврика». Живет в Севастополе.

АВГУСТ

I

От жары дугой согнулся фикус.
В русском мире август – страшный месяц.
Выжженные степи вдоль обрывов,
Словно сумасшедшие дельфины,
Брошены на крымском солнцепеке.
В августе: случаются конфликты,
Не хватает воздуха поэтам;
В сумерках опасные медузы
Порождают пену и ожоги,
Улетают ласточки-касатки,
Медленно готовятся измены.

II

В августе учись хранить молчанье,
Избегай общественных собраний,
Очищай соленые колодцы,
Не гуляй на свадьбах инородцев.
Солнце ослепляет слишком щедро.
На святых камнях – плоды эфедры.
Звезды в море катятся веками.
Город пошло пахнет шашлыками.
Август атакован алычой.
Райский сад распилен саранчой.

III

Красные гигантские стрекозы –
Чертят в небе графики разлук.
Высыхает куст сирийской розы.
Чашка тихо падает из рук.
В предосеннем небе слишком мглисто.
Духота – как жесткое лассо.
У соседа-велосипедиста –
Снова прохудилось колесо.
Я не назову гибискус – «рожей»,
Склею чашку, фикус сохраняю,
Половицы вымету в прихожей...
Может, и тебе перезвоню.



МАНСИМ МАТНОВСКИЙ
Родился в 1984 году в Киеве.
Окончил Киевский национальный университет имени Шевченко по специальности «магистр арабского языка и литературы».
Лауреат премии «Дебют» (2014) и «Русской премии» (2015) с романом «Попугай в медвежьей берлоге».

* * *

Вот мужчина сидит и сочиняет стихи,
Вот мужчина читает их в микрофон на людях,
Не очаровывайся, а просто пойми: ему пришел конец,
Он бесполезный сын, отец, брат, менеджер, друг.
Не покупай его самодельные говняные книги,
Не ставь ему лайки, не поощряй его словами вроде:
Литература – это призвание для немногих.
Просто перебей его и заговори с ним о ценах на газ,
О «Формуле-1», о Зеленском, атошниках и ватниках,
О чем угодно, поговори с ним.
Если женщина пишет стихи и хочет с тобой поговорить
Об этом – терапия серых будней уже не поможет,
просто беги, скажи ей:
Я сейчас, за сигаретами, буквально пять минут!

* * *

Однажды ночью к нему пришли стихи-победители премии «Поэзия»,
Они изнасиловали его жену, дочерей,
Забрали его скот,
Навели порчу на его род, а дом сожгли,
Его же оставили живым и заставили
Выучить их.
Теперь он живет в маленьком домике из дерьма,
Который построил вместе с другими бедолагами,
Не попавшими в длинный список,
И в этот домик часто приходят люди,
И люди говорят:
– Ваши стихи были намного лучше,
Премия не справедливая,
А можно нам еще вина и тех закусок
На шпакке?

* * *

сынок, однажды ты уйдешь из толстых журналов,
из премий, из выступлений,
ты перестанешь позориться и читать стихи на людях,
ты не будешь ставить лайки под стихами в фейсбуке –
понимаю, сейчас это кажется чудовищным.
но наступит то время, и на письма издателей
с предложением издания твоей книги за гонорар и роялти –
ты просто не будешь отвечать,
ты будешь игнорировать издателей, можешь себе представить?!
так вот, это время придет, ты соорудишь свою лодочку,
небольшую такую, сраную,
и пред рассветом поплывешь к другим берегам,
где тебя встретят туземцы и раздерут на части,
и ты – научишься продавать, жить, любить и чинить розетку.

* * *

сто поэтов участвовали в премии,
каждый выбрал свой самый сильный текст,
всех позвали на церемонию,
но вместо церемонии – их вывезли на остров,
выдали оружие – копья, нунчаки, ножи и мечи,
им сказали: победит сильнейший.
все дрались: молодые и старые,
женщины выходили против толстых поэтов,
коротышки храбро сражались с великанами,
было много крови, зубы валялись повсюду,
то был настоящий мортал комбат,
подслеповатых и горбатых не жалели, нет.
победил сильнейший, хоть и текст у него был так себе,
но кто об этом теперь скажет – ведь все видели,
какое фаталити он сделал несчастной старушке из Воронежа.

* * *

На острове одиночества ты встретишь людей из прошлого.
Они будут предлагать любовь и дружбу.
– Давай гулять! Я тебя люблю!
Ты скажешь: где же вы были раньше
Со своей любовью и дружбой,
Почему вы отвернулись от меня,
Когда я так нуждался в вашей любви, дружбе,
Когда мне было так страшно засыпать одному.
Почему вы вдруг приперлись сейчас?!
Я так долго искал остров одиночества.
Потому что мы испытывали тебя на самом деле, ответят они.
Потому что твое одиночество –
Это наш рай и мы его заслужили,
Где здесь туалет, кстати?

СТИХИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КАЗАХСТАНЕ

Фестиваль организован фондом социально-экономических и интеллектуальных программ С.А. Филатова вместе с литературным журналом «Дружба народов» и Открытой литературной школой Алма-Аты при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Российского книжного союза.

ИРИНА ГУМЫРНИ́НА

* * *

1.

Говорила мама, заплетая косы:
«Никого не слушай, ничего не бойся.
Темнота снаружи не имеет почвы:
Не посеешь семя – не взойдет росточек».
И вплетала ленты красные, как маки.
Выли под окошком на луну собаки,
Лаяли до хрипа на соседских кошек.
«Темнота внутри же разрастись не может:
Там, где есть любовь, не бывает худо», –
Говорила мама.

2.

Я искала чуда
В каждом, кто хоть раз мне подавал надежду.
Но рождались страхи и вставали между,
Обвивали горло черной пуповиной –
Мол, ни слова больше.

Проплывают мимо
Образы из детских и наивных книжек.
Их сменяют тени и растут все выше –
Тянутся к пустому сумрачному небу.
Никогда настолько равнодушным не был
Тот, кто запятую заменяет точкой.

3.

«Прохудилась слишком эта оболочка.
Видишь, мама, пусто там, за тесной клеткой:
Нет ни света больше, ни любви ответной.
Есть ли что страшнее в этом мире шатком?
Я отрежу косы – мне теперь не жалко».

* * *

Остановись, мгновение, замри,
Пока горят вдоль улиц фонари
И льется свет по тротуарной плитке;
Пока в руке еще живет тепло,
Пока проспект не кончился углом,
Где расстанутся двое по ошибке.
Все потому, что утро мудреней,
Но утром сдохнуть хочется сильнеей,
Не выходя из комнатной коробки.
И стынет чай, и на стене часы
Отстукивают громко «не-про-си»,
Но ты и без того не ждешь, не просишь.
Проходит день – и снова дежавю,
И нервы по-предательски сдают,
Когда часы встают на цифре восемь.

НСЕНИЯ РОГОЖНИНОВА

* * *

спасибо за эти сумерки
спасибо за эту мягкость
пенье птиц журчанье реки
говорливую благодарность
за то что рифма и ритм
бывают важнее смысла
за то что небо – горит
и прогорает быстро
пусть были мысли горьки
решения слишком поспешны
ступай и на каждый шаг – благодари
за эту весеннюю нежность

ТАКСИСТ ИЗ БАНГКОКА

водитель на тайском английском
рассказывает про себя
сыну девять
жена умерла
смеется
сына воспитывает старшая сестра
у нее нет детей
смеется
родители тоже умерли
опять смех
спрашиваю
– вы – буддист? –
тишина и только
ветер колышет
желтые ленточки

АННА НОВАЛЕВА

* * *

Созревает слеза и лед на крыше.
Бог не может сказать, но может слышать,
как по тонкой дуге капёльной кромки
тихо водит рука Его ребенка.

Голос детский звенит капли тише,
умывает малыш лицо, не слышит,
как за краем воды, хрустальным раем,
бессловесный Отец его страдает.

За капелью Его, за купелью, молча
лес холодный стоит и глядит по-волчьи —
и ни веткой одной, ни одной иголкой
не умеет сказать, как спастись от волка.

| Юность № 5
| Май 2020

| Тема номера:
| Наша победа

ПРОЗА

PACCKA3



защитил диссертацию о китайской средневековой поэзии. Работал в Агентстве печати «Новости», в Государственном музее искусства народов Востока, был избран главным редактором издательства «Столица». В настоящее время — ректор Института журналистики и литературного творчества.

Слишком много всего накопилось, слишком тугой узелок завязался – не распутать, а лишь разрубить...

В нашем бакинском дворе, овальном, словно след от дыни, долго млевшей на горячем песке, и не таком уж большом, чтобы имена его обитателей повторялись, тем не менее было две Лейлы, два

Самвела и целых три Вагифа. Это считалось уже избытком, перебором, поскольку создавало путаницу и подчас вызывало нелепые недоразумения – хоть смейся, хоть плачь.

Скажем, из соседнего двора к нам подсылали Рыжего Басмача – наголо бритого великана, дурня и уroda со зверским оскалом, вселявшим ужас из-за выдвинутой вперед нижней челюсти, – бить Вагифа. А какого именно – уточнить не удосуживались или попросту забывали. И от зверских рож, а также пудовых кулаков страдал *не тот* Вагиф.

Страдал невинный и непорочный, тот же прятался за помойкой и затыкал уши, чтобы не слышать истошные вопли своего несчастного тезки.

Словом, путаница, неразбериха...

Но когда я звал в окно: «Вагиф!» – то никакой путаницы не случилось и откликнулся именно ты, поскольку ни с Длинным Вагифом, ни с Коротышкой Вагифом мы не дружили. Да и какая могла быть дружба, если Длинный Вагиф, носивший турецкую феску, покрывал ногти лаком, словно кокотка, и подкрашивал губы, а Коротышка Вагиф подавал шары в бильярдной, побирался на рынке и ел всякую дрянь, отчего пискляво икал, ходил с раздувшимся животом и его постоянно пучило.

Ты же для меня – и это все знали – был Вагиф Джан, Душа Вагиф, милый, дорогой, любезный сердцу.

Иными словами, друг.

Дружба при всей ее стихийности подчиняется строгой закономерности теоремы Пифагора: она – квадрат гипотенузы, равный сумме квадратов двух катетов. Такие мысли приходили мне в голову, когда мы валялись на широком, плоском, покрытом ковром турецком диване среди твоих разбросанных в беспорядке, забрызганных фиолетовыми чернилами учебников, отщипывали виноград от вызревшей до золотистой патины грозди и я натаскивал тебя по геометрии, которую ты особенно запустил (тебя даже хотели оставить на второй год и оставили бы, если бы не я).

И вот помню, как ты твердил эту теорему, ничего толком не понимая и лишь стараясь вызубрить ее наизусть, я же, лежа на спине и глядя в беленый до синевы потолок, думал о том, что дружба – это гипотенуза, а катеты – это любовь и ненависть. И весь фокус Пифагора в том, что вместе они образуют неразделимое целое.

Иными словами, дружба невозможна без любви, к любви же всегда примешивается хотя бы частичка ненависти. Это было мое открытие, вознесившее меня на один пьедестал с великим Пифагором (я даже представил, как украсил бы мой скромный

мраморный бюст кабинет нашего директора Мустафы Альбертовича, тайно посещавшего мечеть потомка одного из двадцати шести бакинских комиссаров).

Конечно, я не мог (ведь у нас же все поровну) не поделиться моим открытием с тобой. Я взял с тебя клятву молчать и выложил тебе все. Я ждал, что ты в ответ умилишься и прослезись. Но ты меня выслушал, вежливо покивал, зевнул и ничего не понял – так же, как и в головоломке Пифагора. Ты всегда мыслил конкретно и не любил отвлеченностей.

Между тем у меня был пример, подтверждающий мою правоту. Наша с тобой дружба началась с того, что мы друг друга возненавидели.

3.

[illegible]

Возненавидели после того, как тетя Гюля, твоя мать, хвораая, с одышкой и больными, распухшими ногами, выпиравшая из платьев, как тесто из кадушки, заподозрила мою матушку в том, что она вознамерилась увести ее мужа Джамиля, статного красавца и румяного усача. Увести, окрутить и на себе женить, поскольку сама была брошенная и разведенная. Ради этого она якобы даже продала мой аккордеон, чтобы вырученные деньги отнести бабushке Захре, гадалке и колдунье со слезящимися глазами и пиратской серьгой в ухе, и упросить ее навести порчу на всю вашу семью (у тебя еще были младшие сестры – *мажзели*, как ты их звал, и старший брат).

Это была чудовищная клевета. Аккордеон мать действительно продала, но деньги никому не носила, поскольку нам и так было не на что жить. Отец, уходя, нам ничего не оставил, кроме дырявых башмаков, сама же мать продавала газированную воду на бульваре (с сиропом – четыре копейки, без сиропа – копейка) и зарабатывала шестьдесят рублей в месяц. Еще она вечерами мыла пузырьки в аптеке, и руки у нее покраснели и покрылись пятнами от ядовитых, разъедающих кожу смесей.

Покупая мне на последние сбережения трофейный немецкий аккордеон, мать рассчитывала, что не прогадает. Меня будут приглашать на свадьбы, именины, юбилеи и прочие празднества тех советских времен, и аккордеон вдсятеро окупится. Во всяком случае, она на это надеялась. Ей казалось, что с ним-то уж я смогу хорошо заработать. И у нас наконец заведутся денежки на дне старой кондукторской сумки (мать когда-то продавала билеты в трамвае), предназначенной для того, чтобы *откладывать*, хотя откладывать было нечего, и сумка пылилась где-то за диваном.

А если бы Фараон даже мне и позволил разок принять приглашение, то наложил бы свою лапу на мой заработок. И отнял почти все, вывернув мне карманы и оставив лишь смятые рубли и жалкие копейки.

4.

|||||

Правда, эти денежки все равно уплыли, и тогда я пожалел, что расстался с аккордеоном. Мы продали его вдвое дешевле, чем купили. Продали ди-

— Хорошо, да не про меня...

– А ты жди... – Он поставил стакан и вытер ладонью усы: шутка удалась.
Шутка была дошучена.

5.

Вот отсюда и понеслось, что моя мать собиралась увести у тети Гюли ее мужа Джамиля.

Разговор моей матери с Джамилем слышала нянька начальника буровой Якуба, гулявшая с его детьми на бульваре. Она была татарка, из Барнаула, и обладала удивительной способностью все перевирать и переиначивать, искренне веря в то, что говорит чистую правду. Она и поведала тете Гюле о *бульварном* разговоре, истолковав этот разговор по-своему и употребив для этого всю силу своей неукротимой, изощренной фантазии.

Тетя Гюля была поражена. Лицо ее покраснело, пошло пятнами и от нервного зуда покрылось крапивницей с волдырями. Припадая на больную ногу и охая, она выбежала из дома. Вся заколыхалась, заклохоталась, закудахталась, запричитала, повторяя: «Горе мне, горе! Пропала я пропала! Ой, помогите!»

Ее окружили; из всех окон разом высунулись головы. Стиравшие белье молодые мамы зачарованно выпрямились над корытом и стряхнули с рук пену. Чинившие матрас старики отложили молотки и вынули изо рта мелкие гвозди. Мальчишки, собиравшие вызревший тутовник, вытерли о майки красные от ягод руки и рядом уселись на нижний сук. Уселись, глаза сверху на цирковую потеху.

Кто-то из дворовых пацанов свистнул в два пальца, гикнул и крикнул: «Тетю Гюлю обшмонали!» – а там уж подхватили и понесло.

Весь двор заглатывал и смаковал сладкую дынную мякоть будоражащих слухов. Весь двор возмущался, негодовал, осуждал мою мать, замолкая при ее появлении, а затем все больше распаляясь, осыпая ее ругательствами и угрозами.

Мать, зажав ладонями уши, вбегала в комнату, закрывала на засов дверь и, прислонясь к ней спиной и затылком, так и стояла, словно неживая, – не решалась пошевелиться. Я, забившись в угол, со страхом на нее смотрел. Мать тоже смотрела с ужасом, но не на меня, а на вещи, лихорадочно соображая, как быть, если ворвутся и начнут громить, что наскоро засовывать под диван, что выносить через черный ход, что прятать в подвале.

Наконец она не выдержала, набралась решимости и вышла, так крепко держа меня за руку, что я весь извивался, дергался и корчился от боли (откуда-то

у матери взялась такая сила). Все снова замолкли, и только чей-то голос в гробовой тишине произнес: – Зачем вы, армяне, к нам приехали?..

Эту фразу я надолго запомнил. Раньше я таких фраз не слышал, да и не было в нашем дворе *армян* – точно так же, как не было *азербайджанцев*. Были все мы, живущие вместе, рядом, одной семьей. И никто из нас ниоткуда не приезжал, а все здесь родились. Вместе – всем двором – справляли ноябрьские и майские (праздники), гуляли и веселились на свадьбах, поминали после похорон.

Вместе танцевали под патефон и, когда показывали футбол, выносили во двор телевизор с самым большим экраном и линзой. Если подолгу не спадала жара и ночью было нестерпимо душно, спали во дворе на топчанах и раскладушках.

И вот теперь *они* появились – вместе со всем тем, что их разделяло. Разделяло на два лагеря, два враждебных стана, готовых двинуться друг на друга.

И ты, прячась за тетю Гюлю, свою ревнивую и заполошную мать, смотрел на меня волчком, с ненавистью – как на врага. И я, твой враг, ощерившийся, затаивший злобу волчонок, отвечал тебе такой же ненавистью.

6.

Скоро вас поднимут в атаку, и вы перебежками... пригибаясь к земле... прячься за бронетранспортеры, уцелевшие стены домов, наполовину сгоревшие, обугленные деревья... будете приближаться к нашему окопу. Сжимать нас в кольцо. Затягивать на шее веревку, словно у щенков – тех, кого отловили, кому не спастись от живодерни.

Ах, как бы тебе хотелось ворваться в наш окоп первым! И ты ворвешься, поскольку всегда был ловок, гибок, как вьюн, увертлив и проворен. И уж если с кем-нибудь сцепишься, то уж точно – повалишь, заломив за спину руки и сядешь на него верхом.

Вот и меня ты назавтра прикончишь, ведь я всегда уступал тебе в смелости, ловкости и силе. Возможно, ты меня не узнаешь в моем камуфляже или постарайся сделать вид, будто не узнаешь. Я для тебя – как все. Враг! Так тебе будет легче прошить меня очередью или с размаху – разом! – отсечь мне дурную башку саперной лопаткой.

Отсечь, насадить на штык и с гордостью победителя поднять над головой, потрясая ею в воздухе, гордясь и красуясь перед всеми. И при этом вся твоя орава будет в восторге, ты услышишь одобрительные возгласы, гул ликования.

Вот еще одна армянская собака подошла!

В бою вы жестоки и беспощадны, какими бывают заматерелые вояки и необстрелянные дохляки новобранцы. Эти – от бесстрашия, презрения к жизни и смерти, те – от страха и дрожи в коленях. И что самое грустное, так же жестоки и мы, и в состоянии окопного бешенства, страсти и восторга я бы мог поступить с тобой точно так же: отсечь и насадить.

Вот до чего мы дошли, в кого мы превратились. Хотя чему удивляться, ведь на дворе девяносто первый год, война...

7.

Вскоре недоразумение разрешилось, глупую няньку выругали и отчитали, все успокоились, и мы с тобой вспомнили, что живем в одном дворе, и снова подружились. При этом нам поначалу было неловко и стыдно за нашу – пусть даже ненадолго вспыхнувшую (попыхнувшую, словно нефтяной факел) – вражду. Мы оба недоумевали, как могло случиться, что мы, словно по чьей-то злой воле, поддались ужасному наваждению. Нам хотелось смыть это постыдное пятно, друг перед другом оправдаться, но как?

Просто забыть и не вспоминать? Этого было мало, да и не получилось бы у нас – забыть. Чем больше бы мы старались, тем навязчивее нам все напоминало, что мы именно стараемся, пыхтим, тужимся и из этого ничего не выходит. Мы же стремились во что бы то ни стало избавиться от своего стыда, и из-за этого стремления наша дружба превратилась... в любовь.

Вот тогда-то я не мог провести и дня, чтобы не позвать тебя: «Вагиф!» – и ты, единственный из трех Вагифов, безошибочно откликался на мой зов.

Началась чудесная, безоблачная пора нашей дружбы. Теперь нас сближал не двор, хранивший хмурую память о недавнем недоразумении, а весь наш дивный, сказочно прекрасный город, Джан Баку, как мы его называли, и прежде всего, конечно, море.

Лилое в утренней дымке, апельсинно-красное на закате, иссиня-черное ночью, когда нет луны и лишь светят – остро мерцают – звезды, при лунном же свете – магниевое-фосфорическое, гелиотроповое, оно влекло и манило нас, очаровывало и завораживало.

Мы часами сидели на днище перевернутого баркаса, глядя вдаль. Мы были отличные пловцы и бесстрашные ныряльщики. С разбега мы подныривали под накатывающую тяжелую волну с пенными гребешками, чтобы вынырнуть уже тогда, когда она окажется за спиной. И тут же, набрав воздуха, ныряли под следующую...

Накупавшись до тошноты и озноба, грелись у костерка, разведенного из сухих колючек, и смотрели на белевшие – сиявшие белизной у причала – большие пароходы.

На берегу у нас было четыре места (не хочу называть их пляжами): Шихово, Бузовны, Пиршаги, Мардакяны. Там мы валялись на песке до самого вечера, до мерцавших в темноте огоньков медуз – волшебного зрелища, которым мы не уставали любоваться.

И конечно, мы обожали нашу шикарную набережную, где жарили каштаны и шашлыки, где суетился фотограф со своей треногой, гуляли нарядные дамы и веяло какой-то далекой, неведомой, несбыточной жизнью.

Отблеском, отсветом, призраком этой жизни был блиставший вечерними огнями кинотеатр «Низами», куда мы старались прошмыгнуть без билета, но нас чаще всего хватали за шкурку, выкручивали ухо и пинком вышибали на улицу. Но иногда удавалось – и прошмыгнуть, и выпить на двоих кружку пива (если в кармане бренчала мелочь). Удавалось даже отыскать свободное место – крайнее в заднем ряду: его никто не занимал, поскольку из-за колонны было плохо видно. Мы же ухитрялись увидеть все и сидели на нем по очереди, а когда уставали стоять, то и вместе, разом, на коленях друг у друга.

Но еще больше любили мы цирк, где твой старший брат Джафар играл в оркестре на контрабасе, поэтому мы там были свои люди, всеми признанные, фартовые пацаны. Стоило тебе небрежно бросить билетеру: «Я брат Джафара» (ты к тому же был на него похож), и нас почтительно пропускали.

Мы замирали от восторга, смеялись и тайком вытирали слезы, когда всадники показывали чудеса джигитовки, фокусник распиливал в ящике свою преданную и доверчивую ассистентку, не издававшую ни единого стоны, косматый лев с раскатыстым рыком прыгал через огненное кольцо и клоуны дубасили друг друга по голове чугунными гирями. Мы же были счастливы, и от этого головокружительного счастья нам хотелось клясть и признаний.

Тогда я шептал тебе в ухо, что никогда тебя не предаю, и ты мне в ответ клялся, что если будет война, ты будешь воевать за меня. Какая война, мы толком не знали, но нам смутно мерещилось что-то такое же, как в телевизоре или на экране кинотеатра «Низами». Там вечно рубились, строчили из пулемета, при гробовом молчании, без единого выстрела шли в психическую атаку (эта сцена сводила нас с ума). И твоя клятва означала, что ты будешь за меня даже в том случае, если я, по примеру Рыжего Басмача, подамся к белым, а ты – к красным.

Не сдержал ты клятву, Вагиф, как и я свое обещание. Всё в мире оказалось изменчивым, зыбким, непрочным. Только война нам не изменила, явилась, как призрак, и осталась с нами навсегда...

8.

Но пока еще никакой войны нет – нет ни Сумгаита, ни Степанакерта, ни призывных митингов, ни погромов, ни разбитых стекол, ни выпотрошенных перин, а есть девочка по имени Софа, красавица с черными косами, гордячка и зазнайка.

Она носит белую панаму, защищающую от солнца, и связанные бабушкой наколенники (бережет колени). У нее в кармане зеркальце, а на правой руке – маленькие часики, хоть и детские, но настоящие, показывающие время (купленные явно не у нас, не в магазине Самвела, а откуда-то привезенные).

Софа Амбарцумян – мы оба в нее влюблены...

Софа жила в соседнем дворе, и мы ее долго не замечали. Выходила во двор она редко и только с няней, высохшей старухой, носившей шаровары и тубетейку, и играла под своими окнами. Ближе к обеду окно открывалось, в нем мелькала чья-то тень, и ее звали домой: «Софочка!» – и няня ее тотчас уводила.

«Софочка, фюфочка, фиюфочка!» – передразнивали мы с ломанием и кривлянием, чтобы тотчас забыть и эту дразнилку, и ту, кому она была адресована.

Вскоре Софа вообще перестала выходить во двор, поскольку ей неудачно удалили гланды и врачи боялись осложнений. Она сидела на балконе с перевязанным горлом и благостно, томно ела мороженое, которое ей покупали в больших количествах, поскольку так велели врачи.

Она брала мороженое маленькой серебряной ложечкой, зачем-то дула на него, долго держала во рту и зачарованно проглатывала. При этом вытирала губы платочком с кружевной каймой, хотя алые следы от клубничного мороженого все равно оставались у нее в уголках губ, на щеках и подбородке, что придавало ей выражение удивленной беспомощности и подкупающей наивности.

Вот тогда-то мы ее наконец заметили. Более того, мы смотрели на нее с восторгом и немимым обожанием. И это обернулось катастрофой, поскольку ни я, ни ты не знали, как совместить море, набережную, кинотеатр «Низами», нашу восторженную дружбу с внезапно охватившей нас любовью к этой противной девчонке.

Девчонке с удаленными гландами, перемазанной мороженым, нашей будущей насмешнице и повелительнице.

– Дай попробовать, – попросили мы, вставая на выброшенный кем-то стул со сломанной спинкой, чтобы дотянуться до ее балкона (балкон был низкий, каменный, с большим выносом).

– Не дам. Это мне купили.

– Что тебе – жалко?

– Говорю, не дам. Не приставайте.

– Ну, хотя бы чуть-чуть. Не жидись.

– Уйдите, я сказала. Вы оба грязные.

Так закончилась наша первая попытка с ней познакомиться, и мы не только послушно стерпели насмешку, но, что было совсем уже глупо, бросились отмываться под дворничьим шлангом, тереть колени, плечи, бока и спину, словно на них налипли тонны грязи. Она же, глядя на нас, покатывалась со смеху, откидываясь на спинку стула и закрывая рот пунцовой ладошкой.

Тогда ты не выдержал, обозлился, решил отомстить и сказал:

– А ты зато вовсе не Софа.

– Кто же я? – Она еще не знала, какой ответ ее ждет.

– Ты не Софа, а софа, и все на тебе будут лежать.

Как тут ее перекосило! На секунду она застыла в немом изумлении, округлила свои прекрасные, черные, с гранатовым отливом глаза. А затем черты ее исказились, рот скривился, нижнюю губу оттянуло, из глаз брызнули слезы, и наша Софа (она же софа) с презрением выкрикнула:

– Дураки! Придурки! Дряни! Вы мне омерзительны! Я на вас пожалуюсь папе! Тогда узнаете!

– Что мы узнаем? – спросил я на всякий случай, хотя не очень-то испугался.

– Где раки зимуют – вот что! – фыркнула Софа.

9.

Софа исполнила угрозу – пожаловалась отцу. После этого она стала смотреть на нас с мстительным торжеством и притворным сочувствием, как на приговоренных к самой страшной казни. Однако дни шли, а обещанная казнь не свершалась, что давало нам повод каждый раз с невинным любопытством спрашивать, проходя мимо ее балкона:

– Ну, и что твой папа? Где же он? Папа! Папа! – Мы рупором складывали у рта ладони. – Испугался?

Это было дерзостью, на которую Софа тем не менее отвечала удовлетворенно, с приятной, многообещающей улыбкой:

– Ага, испугался, весь дрожит... Подождите, мальчишки. Потерпите до выходного.

В воскресенье ее отец велел нас привести. Софа сказала нам об этом с обреченным, жалостным вздохом, словно спасти нас уже ничто не могло:

– Велено вас привести. Только не забудьте вытереть ноги, мальчики: у нас дорогой паркет. Да и не мешало бы вам, мальчики, ботинки почистить. – Она намеренно отвернулась, чтобы не смотреть на наши пыльные ботинки.

Мы не решились ослушаться, поскольку знали, что отец Софы – важный чин, носит фетровую шляпу, шьет костюмы у дорогого портного, приглашает парикмахера на дом. К тому же и его возят в автомобиле с кремовыми занавесками на окнах. Поэтому мы затащили потуже ремни (это казалось нам признаком респектабельности) и, сорвав лопух, покорно смахнули им вековую пыль с ботинок.

И вот Софа нас привела, словно арестованных под конвоем. В полутемной прихожей тускло мерцало зеркало. Она велела нам причесаться, постучалась в кабинет отца и доложила с безучастным высокомерием:

– Они – здесь.

А когда он вышел, добавила:

– Отругай их как следует и задай им по первое число.

Добавила так, словно первое число упоминалось в доме часто, привычно и по самым разным поводам.

– Сейчас, сейчас, – пообещал он, и нам стало ясно, кто в этой семье приказывает, а кто – выполняет приказы.

Отец Софы изучающе посмотрел на нас сверху вниз. Посмотрел и сделал кое-какие выводы. Затем он присел на корточки, поставил нас перед собой, как болванчиков, поднес нам к носу большой кулак с белесыми волосинками на сгибах пальцев и спросил (для порядка):

– Чем пахнет?

Спросил и сам себе ответил (отстраненно возвестил куда-то в пространство):

– Смертью пахнет.

Помнишь, мы с тобой изрядно струхнули? Колени у нас ослабли и ноги сделались ватными. По спине холодной струйкой пробежал пот. Сейчас это кажется смешным, но тогда от испуга мы чуть не наложили в штаны, уверенные, что это конец и нам придется расстаться с жизнью.

Но к нашему облегчению выяснилось, что он большой шутник, ее драгоценный папа, к тому же любит ребячиться и показывать, что способен говорить с детьми на их языке.

Вот он и решил нас немного попугать. Хотя на самом деле был добрый и тотчас же принялся ми-

рить нас, уговаривать, чтобы мы не ссорились с дочерью, а были рыцарями и защищали ее во дворе.

После этого усадил нас всех за стол, налил чаю, принес коробку бело-розовой пастилы, сдвоенное печенье с кремом посередине, какое не продавали в магазинах, обсыпанный сахарной пудрой рахат-лукум и произнес:

– Ну, набрасывайтесь. Сметайте.

Затем проводил в детскую комнату, чтобы мы там поиграли, только при этом не слишком шумели, потому что он – работает.

И тихонько закрыл за нами дверь.

10.

Мы остались одни с Софой, нашей дамой сердца (если мы рыцари, то она – дама), и это показалось страшнее, чем любые кулаки, пахнувшие смертью. Мы растерялись, смутились, не знали, что сказать, – только отчаянно улыбались, словно без улыбки могли вообще провалиться в тартарары.

Видя, что от нас толку не добьются, Софа сама взялась нами руководить.

– Ну, мальчики, во что будем играть? – спросила она так наигранно и зловеще, что стало ясно: чувство мести в ней еще не удовлетворено. – Может быть, в тахту или софу? – Она посмотрела на нас невинно, но с неким затаенным умыслом. – Хотите?

И тут ты задал глупый вопрос, оказавшийся для нас же ловушкой:

– А как это?

– Что – как? Играть в софу? Очень просто. Неужели вы не знаете! Сейчас я вам покажу. – Она легла на ковер, поправила на коленях юбку и вытянула ноги. – А теперь вы на меня ложитесь. Смелее, ведь я же софа. Вы меня так называли, помните? Вот у меня валики, вот – подушки, вот – ножки с колесиками, а внутри – пружины. Слышите, как они скрипят? Ну, кто первый?

Никто из нас не решался лечь на софу. Тогда ты предложил:

– Лучше будем играть не в софу, а в тахту. Пусть этот ковер будет тахтой.

– Нет, мальчики, в тахту неинтересно. Вот в софу – это настоящая игра. Ну? Я вам велю лечь на софу. Я вам приказываю.

Мы молчали, мечтая лишь о том, чтобы поскорее сбежать и при этом не осрамиться, опозориться окончательно.

– Что же вы? Не хотите? Ах вы, дряни! Придурки! Дураки! Уходите вон! Вон отсюда!

И мы опрометью, стуча ботинками по дорожному паркету, бросились вон. Из комнаты – в коридор, из коридора – в полутемную прихожую и из прихожей – за дверь.

На этом кончилась наша любовь, наше немое обожание, и к нам вернулась прежняя дружба, чему мы, конечно, обрадовались, хотя при этом оба почувствовали, что нам стало скучнее дружить. Почему? Наверное, потому, что мы сбежали (а значит, все-таки опозорились) и никто из нас не решился лечь на софу.

11.

Хотя мы жили в Баку, моя истинная родина – место, где я появился на свет, – Нагорный Карабах (по-армянски Арцах). А если точнее – село Завадх Мартунинского района, дом Сурена Григоряна, моего отца, который в жизни все тщательно обдумывал, но при этом совершал безрассудные поступки (он умер вскоре после того, как от нас ушел).

Я часто рассказывал тебе, что туда, в этот запущенный, полуразрушенный дом с прохудившейся крышей, затянутыми рыжей паутиной углами, репейником и чертополохом, проросшим между досками пола, он привез мою мать незадолго до родов. Сам понимаешь, что никаких условий для того, чтобы рожать, там не было; повитуху и ту днем с огнем не найдешь после того, как умерла бабушка Нина, всем помогавшая при родах.

Ты меня не раз спрашивал: зачем отцу понадобилось совершить это долгое – восьмичасовое – путешествие по скверным дорогам, изрытым адскими ямами, хотя матери уже было трудно передвигаться и она ждала начала схваток? Не знаю. Я об этом отца никогда не спрашивал, да он и вряд ли мне ответил бы, поскольку, молчаливый и даже суровый, не любил рассуждать на такие темы. Для него привычнее было разнести стаканы с чаем по купе, подсыпать угля в печурку, разбудить пассажира перед ночной остановкой поезда (отец работал проводником поезда Баку – Москва).

Но у меня есть одна догадка. Я ее не то чтобы от тебя скрывал, но не было повода высказать. Поэтому сейчас высказываю – без всякого повода, хотя и с особым умыслом, который можно принять за повод.

Конечно, я мог бы сказать, что это – один из многих безрассудных поступков отца. Может, и так, но я бы еще добавил, что отец за всю жизнь прочел лишь одну книгу – Евангелие, оставленное кем-то в поезде. И у него перед глазами был пример – праведный Иосиф, совершивший вместе с беременной

Марией долгое (трехдневное) путешествие из Назарета в Вифлеем. Я не исключаю, что отец тайл в душе робкую и стыдливую мечту – хотя бы чуть-чуть уподобиться праведному Иосифу.

Но еще вероятнее все же другое. Отцу хотелось, чтобы я появился на свет в краю, благословенном Богом как земной рай, цветущем, благоухающем, отмеченном несказанной красотой и изобилием плодов земных, где, как говорят армяне, всего море. Да, армянское название моего села – Цоватех – так и переводится: Место, где всего море. Конечно, бездарные власти довели этот край до бедности, до крайней нищеты и дикости, и все-таки *море изобилия* витало над ним, словно призрак, угадывалось во всем, что могло бы цвести и благоухать, если приложить к нему руки.

Я давно уговаривал, звал, приглашал тебя поехать туда вместе со мной и наконец уговорил. Когда нам исполнилось по пятнадцати лет, мы взяли билеты на междугородний автобус Баку – Красный Базар, прокопченный, запыленный, расшатанный тряской по ухабам и рытвинам.

По негласному, но неукоснительно соблюдаемому правилу водителями были армянин и азербайджанец, Армен и Султан – я их хорошо знал. Их всегда бесплатно кормили в придорожной столовой, поскольку они приводили с собой толпу голодных пассажиров. Знал я также и кондуктора Маргушу, маленькую, как девочка, сухенькую, улыбчивую, писклявую, с тоненьким, дрожащим голоском.

Была чудесная весна, дрожала в воздухе голубая дымка, ветром носило белые лепестки, все цвело, изумительно пахло, дышало влагой местами дотаивавшего на горных склонах снега. И мы впадали в то восторженное умиление, которое охватывает всех, кому удастся вырваться этой порой из города.

На Лачинском перевале ударило из-за облаков солнце. Неправдоподобно оранжевое, с лиловым обручем, оно ослепило, ожгло, расплылось сахарной патокой на оконном стекле, а затем снова обрело форму инопланетного диска и сузилось до слепящей точки. Распахнулись дали, вынесенные куда-то фантастической проекцией, как выносятся за окно отражение...

В доме пахло сыростью, плесенью, мышами, и надо было долго топить печь, чтобы наконец исчез этот запах. Ты немного заскучал, и, чтобы развлечь бакинского гостя, я пожарил на особой сковородке лук и приготовил лобию из красной фасоли, как готовят только здесь у нас, в Карабахе. Я накормил тебя, а затем повел к дяде Самсону, балагуру и насмешнику, жившему по соседству.

Его не оказалось дома: как мне сказали, он охотился в горах. Но дядя Самсон держал ослика в стойле (по-армянски *кям*). Мы вывели ослика во двор, ты ловко взобрался к нему на спину, ухватился за гриву и стал кататься – сначала по двору, затем ослик вынес тебя на улицу, и я уже не мог вас догнать. Ты смеялся от удовольствия, что-то напевал, свистел, вытянув трубочкой губы, и я радовался за тебя как за лучшего друга, которому выпало счастье (по-армянски *бахт*) испытать, что это такое – кататься на ослике дяди Самсона.

Тогда ничего еще не предвещало беды. Правда, в горах иногда слышались выстрелы, но это были охотники, а охотников мы не боялись...

12.

Нас тут осталось трое – я и дядя Вартан, третий же не в счет, поскольку это – Азраил, Ангел Смерти. Я здесь впервые его увидел, и меня это так поразило, что я долго тер глаза, как бывает, если внезапно ударит в глаза и ослепит яркий, сияющий свет. Собственно, он невидим, этот Ангел, но иногда веки смежаются, и меж ресниц возникает мерцание, в котором угадывается зыбкий, двоящийся контур его головы, вьющихся золотистых волос, белых крыльев за спиной, узких ладоней и слегка удлиненных ступней.

И некоей частью сознания я понимаю, что передо мной Ангел, существо эфирное, сверхреальное, хотя другой частью вынужден удерживать предметы этой реальности – обожженные деревья, развалины дома, слоистые облака над головой, – удерживать, чтобы не тронуться умом, не потерять рассудок, не лишиться здравого смысла.

И все же это так странно! Азраил сидит на бруствере окопа, обняв колени, и ждет, чтобы забрать мою душу. Дядя Вартан пьяница, озорник и безбожник – его душа, наверное, на небо не попадет. Я же научился молиться и верить в бессмертие души после того, как началась эта бойня, стали калечить и уродовать тела, и мне отчаянно не хотелось смириться с тем, что вместе с телом можно уничтожить душу.

...Ну вот, с вашей стороны что-то зашевелилось, над окопами показалися зеленые каски, обтянутые сеткой, взревели моторы, и вся эта смертоносная лава поползла в нашу сторону. Глядя в бинокль и стараясь навести его на лица наступающих, я всех узнал. Узнал статного усача Джамиля, мужа тети Гюли, узнал отца Софы, живущей в соседнем дворе, аккордеониста дядю Валида по прозвищу Фараон,

директора школы Мустафу Альбертовича, великана Рыжего Басмача, Длинного Вагифа и Коротышку Вагифа, твоего старшего брата Джафара, игравшего на контрабасе, и тебя самого, моего друга, которого я звал Жан Вагифом, а вместе с тобой и весь Жан Баку...

Все вы перебежками... пригибаясь к земле... прячьтесь за бронетранспортеры... приближаетесь, берегите в клещи наш окоп, не подозревая, что нас всего-то трое. Сейчас ты ворвешься, чтобы с размаху отсечь мне голову. Нельзя, чтобы море изобилия принадлежало нам, здесь родившимся и пожелавшим, отделившись от вас, жить наособицу, своей свободной жизнью. Такое не прощают. За это полагается жестокая расплата. Поэтому я прерываю или, скорее всего, заканчиваю мое мысленное письмо.

Сейчас... сейчас... До встречи, дорогой Вагиф.

* * *

Дядю Вартана убило первым – осколком разорвавшейся мины, меня следующим – разорвавшейся вблизи связкой гранат. Остался лишь один защитник нашего окопа – Ангел Азраил с его сверкающим, ободострым мечом. Напрасно я сказал, что он не в счет.

В счет!

6 марта 2018 года



ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙ



МАРАТ ГИЗАТУЛИН
Родился в 1960 году
в Чирчине (под Ташкентом).
Окончил Московский
институт химического маши-
ностроения. Исследователь
творчества и первый биограф
Булата Онуджавы. Предсе-
датель московского Клуба
друзей Булата Онуджавы.
Автор нескольких книг.

Петру Трубецкому

За окном унылый летний дождик моросит, и за вечерним чаем бабушка с дедушкой внучке сказки рассказывают, каких она никогда раньше не слышала, да и не услышит больше никогда. Бабушка говорит монотонным неинтересным голосом, удивленно вертя в руках непонятно откуда взявшийся сырник. Забыла, что сама же их и напекла полчаса назад.

— Когда война началась и отца забрали на фронт, нам очень голодно стало. Мне было шесть лет, и мы с мамой и сестренкой четырехлетней пошли на поле колхозное, чтобы после уборки поля колоски и зернышки собирать, те, что не попали в комбайн. Эту сказку я никогда не рассказывала, потому что мне стыдно очень. Но тебе, деточка, я расскажу.

Действительно — почему ж не рассказать восьмимесячному ребенку, который ничего еще не понимает, даже о слове «мама» подозревает только. Она улыбкой своей неизменной ищет любви и понимания у бабушки с дедушкой, за что те очень свою восьмимесячную внучку любят. И бабушка от внученьки ничего не скрывает — дует и дует свою песню, как тот брандмейстер.

Дедушка, правда, сегодня не в форме — сидит безучастно, и его недавно бритая голова с седым мальчишеским бобриком устало клонится набок,

и глаза его, раньше всегда смеющиеся, сегодня закрыты. Так что и не поймешь даже, смеются они сейчас или нет. Хотя... Смеются они, конечно, смеются. Дедушкины глаза не могут не смеяться, это даже восьмимесячный ребенок знает!

Бабушка монотонно и без эмоций продолжает исповедоваться восьмимесячному ребенку. А та, благодарный слушатель, улыбается любым словам бабушки.

— Вдруг налетел колхозный сторож с камчой. Я так испугалась, что совершила подлость, за которую мне и сейчас стыдно. И мне стыдно, что этот случай я в воспоминаниях своих опустила. Но тебе, внученька, я все расскажу! Я сказала сторожу, что это мальчик, с которым мы собирали колоски, меня подбил на это. А на самом деле было наоборот. Ему, как и мне, было шесть лет, но он был очень болен, внученька, — у него была астма. И он был единственный ребенок у мамы. А у меня еще сестренка была...

Тут бабушка вдруг скривила лицо и запела. Ее внученька тоже любит петь в полный голос, но бабушкина песня ей сейчас не понравилась. И она тоже скривила лицо и заплакала. Тихо, плачем обиженной женщины.

Тут все спохватились — мама кинулась чайник греть, а бабушка вдруг заулыбалась лучезарной улыбкой. И даже дедушка приоткрыл измученные добрые глаза и погрозил бабушке пальцем.

Он сегодня первый день, как не вышел в свой любимый огород поработать. Еще вчера он выходил и внученьку с собой нес, чтобы похвастаться. И она очень его одобряла. Да и как тут не одобришь – дедушка ее был не только в Подмосковье выдающимся садоводом-огородником, но и в Узбекистане когда-то. Узбеки его так уважали, что приглашали его на большие тои плов приготовить. При этом он занимал высокую должность главного энергетика главного узбекского предприятия. И коттедж его государственный умопомрачительный находился в самом центре города, в минуте ходьбы от площади Ленина. И в центре города многие, кто заставал пятичасовое утро, наблюдали с открытыми ртами, как один из главных людей города выпасает корову, еще без галстука, в кирзовых сапогах. И все узбеки, от пастуха до министра, независимо от возраста, звали дедушку восьмимесячной улыбчивой девочки не по имени и не по отчеству даже, а Рустам-акя. В переводе на русский это означает дядя Рустам.

Только председатель Совета министров Узбекистана называл дедушку на ты. Потому что они студентами еще дружили, а годы спустя в соседних коттеджах жили. А еще мне помнится, как отец восьмимесячной внучки Рустама дочурку Гайрата на мотоцикле катал.

Рустам-акя снова прикрыл глаза, чтобы никто не видел, как тяжело ему умирается. И бабушка решила вспомнить что-нибудь повеселее из своего детства. Оказывается, колоски на колхозном поле они недолго собирали – мама заболела тифом. Что не удивительно, ведь воду они пили из арыка.

Забегая очень сильно вперед, должен сказать, что неграмотные они были тогда – я, например, в своем детстве воду из арыка пил не иначе, как профильтровав через материю своих трусов.

Бабушка рассказывает, как мама их вела домой после работы. А четырехлетняя Фируза все плачет – зуб у нее болит. Ну и зашли по пути домой к врачу. Мама пошла с ребенком в кабинет, а сумку свою стеречь старшей оставила, шестилетней. Ну, шестилетними почти все из нас бывали – поет, пляшет, сумкой крутит будущая бабушка восьмимесячной улыбчивой внучки.

А в сумке возьми что-то да и разбейся. И потекло из нее. Оказывается, в сумку мама свой недоеденный обед положила – тушеную капусту. Она работала в детском саду, и там весь персонал кормили так же, как и детей коммунистического будущего.

Ну разбила и разбила. Подумаешь – тушеная капуста! Но моя бабушка пришла в совершенное бе-

шенство. Она бегом доволокла своих дочек до дому, нашла где-то жгут алюминиевой проволоки и принялась нещадно этим жгутом охаживать будущую бабушку. Она кричала:

– Ты хочешь, чтобы меня посадили, да?! Ты хочешь, чтобы меня посадили?!

Еле-еле ее соседки оттащили.

И вот я думаю, что лучше бы мне о пришельцах и попаданцах писать. Дольше бы, наверное, прожил. Только непонятно, зачем.

А дедушкина уставшая голова совсем безжизненно упала на грудь, и дальше бабушкиного рассказа он не слышал. И только рука его, лежащая на столе, продолжала держать чашку вечернего чая.

Батуми, 31.07.2017



«Я УВЛЕКАЮСЯ СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКОЙ...»

Александру Белову

Прочитал я как-то у Сергея Тимофеевича Аксакова эпическое произведение про рыбалку. И подумалось – надо бы и мне, ведь я самый что ни на есть заядлый рыбак. У меня тоже произведение будет в нескольких главах, но общий объем, конечно, значительно меньше – пропорционально выловленной рыбе.

Сколько себя помню, всегда рыбалку любил. Она так часто снилась по ночам, как трепещущему всеми фибрами души жениху недоступная пока невеста. Понимаю, что сравнение неудачное, – и недоступность невесты вызывает недоумение, и склонность жениха к прелестям именно женского пола, – но я же говорю про то, что было раньше.

Мой папа одно время часто ездил с друзьями на рыбалку, и всякий раз они привозили кучу рыбы, буквально мешками, и даже огромных черепах, которые потом годами изничтожали наш огород.

Жили мы так далеко, что рыбачить им приходилось аж на Сырдарье. Была тогда такая река, а может, и сейчас есть, хотя столько с тех пор воды утекло, что даже представить себе невозможно, что вообще еще что-то есть. Рыбы там в самом деле было очень много: и жерех, и красноперка, и сом, и судак. Да, вот еще сазан, – чуть не забыл главное.

Местные жители никогда не рыбачили, им это было не в привычку, поэтому рыба там всякий страх потеряла и приобрела невероятные размеры. Говорят, сомы до пяти метров в длину вырастали (на всякий случай уточняю, а то вдруг кто-нибудь подумает, что в ширину).

Так вот, отец привозил так много рыбы, что пришлось нам на огороде даже коптильню соорудить. И заведовал коптильней исключительно я.

Однажды папа согласился взять меня с собой. Для этого я должен был встать в три часа ночи, причем сам, он меня будить не обещал, – видимо, хотел использовать последний шанс, чтобы отделаться от моей компании. Что такое будильник, у нас в семье просто не знали. Слышали о существовании такого прибора, но не представляли его практической ценности, ибо родители сами каждый день вставали не позже, чем в шесть утра, без всякого будильника.

Ночью я спал тревожно и проснулся без пяти три.

Так впервые я попал на рыбалку. Подробностей ловли не помню, было мне всего шесть лет. Помню только, что другой мальчик, сын друга моего отца, утопил тогда мой новенький игрушечный трактор. Несмотря на это, мы подружились, но трактора я ему до сих пор простить не могу и всякий раз требую моральной компенсации, когда он из тепер уже Риги приезжает ко мне на тепер уже Кипр.

над младшим, хотя он и моложе меня на пятнадцать лет. Да и как могло быть иначе, он – человек исключительно умный и высокообразованный и по социальной лестнице стоит значительно выше меня. Вообще-то на этой лестнице я держусь за первую ступеньку двумя руками, чтобы не упасть еще ниже, и там немудрено быть выше меня. Но он очень, очень высоко стоит. Папа его в свое время был не то первым секретарем посольства СССР в Японии, не то вторым, но уж никак не третьим! И сын его, конечно, получил блестящее образование, он свободно говорит и пишет по-японски, по-корейски и по-китайски и уже подбирается к изучению татарского! А по-английски даже сочиняет пословицы и анекдоты, и некоторые из них уже вошли в оксфордские словари!

К моменту нашего знакомства мой будущий сосед был владельцем фирмы, крупнейшим производителем и поставщиком соуса васаби в мире. Я этот соус очень люблю и, как приду к нему, обязательно нахожу, где он от меня его прячет. У него красивая жена, роскошный дом с ботаническим садом в элитном поселке и автопарк из пяти единиц. На «Порше Кайен» его маленький сынок пугает подли-массольских ящериц. Я соседу, конечно, в подметки не гоюсь, но он очень добрый и демократичный человек и даже во мне нашел что-то, достойное его внимания.

И вот я к нему ввалился и с ходу заявил, что этот год у меня прожит зря – мне не довелось порыбачить и поймать хотя бы гуппи или меченосца. Выслушав мои сбивчивые рыдания, он ленивым жестом указал мне на кресло, опустившись в которое я сразу был откинут вниз, а мои красивые (это, кажется, я уже писал) ноги, наоборот, вскинулись вверх, и в таком горизонтальном положении я наблюдал, как он, достав откуда-то бутылку виски и два бокала, занял соседнее кресло, благосклонно склонив голову набок. Мое кресло утробно урчало и производило какие-то манипуляции с моим телом.

Выпили. Помолчали. Кресло продолжало истязать мое тело. Еще выпили, и он, наконец, начал свой рассказ усталым голосом шкипера заваленного по ватерлинию сельдью судна. Оказывается, чтобы наловить рыбы, в море вовсе не обязательно выходить. Здесь, на Кипре, есть масса озер, водохранилищ. Сосед ездит рыбачить именно туда. И рыба пресноводная ему больше нравится.

– Так я ж пробовал в прошлом году на водохранилищах, – робко возразил я.

Он снисходительно, но негромко, с уважением к моему возрасту, рассмеялся. Оказывается, надо

знать, на какие водохранилища ездить. Вот у него есть пара секретных водохранилищ, где рыбалка и не рыбалка даже, а так – скукотища. Он там ловит на спиннинг: закинул – вытащил, закинул – вытащил. Хорошие такие сазаны, карпы. Ну, он три раза закидывает, вытаскивает и уезжает домой – лишняя рыба не нужна.

– Скучно это и неинтересно, – позевывая и прихлебывая, говорит сосед. – Закинул – вытащил, закинул – вытащил...

Я аж выпрыгнул из цепких объятий олигархического кресла: а давай поедem, ты мне покажешь, где это: закинул – вытащил, закинул – вытащил...

– Ну, хорошо, хорошо, – успокаивал он меня, как ребенка, похлопывая по плечу, – в ближайшие выходные и поедem.

Я возликовал, а он вдруг спохватился подозрительно:

– А спиннинг-то у тебя есть?

– Ну как же, как же, ты же сам мне ведь подарил, – засуетился я, испугавшись.

В субботу мы ни свет ни заря выехали. С женой с вечера подготовились, она мне бутербродов всяких, одноразовой посуды, одежды собрала, а упаковку пива я сам приготовил.

В шесть часов утра темень – глаз коли. А мы в прекрасном солнечном настроении на соседском несусветном внедорожнике летим в горы. За окном шуршит ласковый ночной кипрский воздух, редко ударяют по стеклу капельки зимнего дождя, которого хватило бы, если собрать весь, на чайник чая.

Ехали часа полтора – я думал, наш остров меньше. Наконец, в каком-то живописнейшем ущелье остановились. Красивое такое место: скалы, обрывы, сосны и кактусы. Припарковавшись, сосед сказал, что здесь он обычно и останавливается. Вышли (после долгой дороги хочется сказать – спешились), размяли ноги. Он подвел меня к краю откоса – посмотреть на водохранилище. Я посмотрел – водохранилища не было. Было ущелье, поросшее молодой жизнеутверждающей растительностью, кое-где выросшей уже и под два метра, были камни – красивые, лежащие в тех же положениях, что и миллионы лет назад, когда их сюда кто-то зачем-то закинул. Не было только воды. Вообще никакой, даже ручейка. Правда, какие-то следы на противоположной скале давали возможность предположить, что здесь когда-то была вода, может быть, даже и не миллионы лет назад. Сосед, как мне показалось, потрясенный, молчал, я – тем более. Здесь можно было бы написать «молчание становилось невыносимым», но ничего подобного не могло быть в наших с соседшкой

Сосед, как мне показалось, потрясенный, молчал, я — тем более. Здесь можно было бы написать «молчание становилось невыносимым», но ничего подобного не могло быть в наших с соседусшкой взаимоотношениях — мы не тяготились паузами друг с другом.

взаимоотношениях — мы не тяготились паузами друг с другом.

Так же молча мы сели в машину и молча поехали домой. Дорогой я отошел от шока и начал с присущей мне дотошностью и без тени ехидства уточнять у соседа вес выловленных когда-то здесь рыб.

— Да я тебе клянусь, — кричал он, — вода там была! Тогда была!

Я не хотел с ним спорить, лишь кротко заметил, что в прошлые рыбалки мне хоть крючок удавалось намочить.

Дома нас ждали жены с хорошим уловом. Я свою с утра попросил освободить морозильник. Хорошо хоть, только два раза успел попросить: она у меня золотце, конечно, и послушная, но реагирует, как правило, только с третьего раза.

Ну, мы заехали на всякий случай на водохранилище возле наших домов, чтоб совсем уж не возвращаться, крючки не помочив. Закинули удочки, и я, наконец, вскрыл свою упаковку пива. Но сосед отказался, заявив, что с сегодняшнего дня вообще пиво пить не будет, потому что от него поправляются. Видно, все-таки его сильно ударило увиденное в ущелье, если вдруг потянуло на такие революционные решения.

Солнце в зените, я в нирване, пиво не успело сильно согреться, поплавок мой тоже не беспокоился. Но главное — крючок стал наконец мокрым. Рядом суетился друг, заговорщически шепча о другом водохранилище — близ Пафоса, куда мы отправимся в следующую субботу.

Да-да, мы обязательно туда отправимся, обязательно. Непременно. Буквально в следующую субботу. Поедем. И это будет счастье.

И вам того же.

В следующую субботу мы никуда не поехали. Потом опять не поехали, потом еще раз никуда не поехали... Все некогда как-то.

Так прошел год. И тут из Москвы на Кипр приезжает навеки поселиться еще один мой друг. Быстренько покупает квартиру с видом на море, удочку, наживку, отвозит молодую жену в родном за очередным сыном и приходит ко мне:

— Собирайся, на рыбалку едем!

Я кинулся искать свои снасти. Нашел в укромном уголке в гараже, разогнал ящериц, распутал паутину, а он меня все подгоняет нетерпеливо:

— Давай-давай, пошевеливайся!

Его нетерпение передалось и мне, я схватил свои снасти в охапку и, натягивая на бегу шорты и шлепанцы, потрусил за ним. Мы не стали искать какое-то особо обильное рыбной водохранилище, а поехали на ближайшее, в пяти минутах от моего дома. Новообращенный киприот в нетерпении трясся, как марафетчик, отлученный от шприца, и до другого водохранилища я боялся его не довезти. Добравшись до места, мы выскочили из машины и, рискуя поломать конечности, кинулись по камням к воде. Несколько случившихся рядом кипрских рыбаков с удивлением смотрели на нас. Здесь вообще-то все делают неспешно, даже пожар тушат. А уж рыбу ловить сам бог велел вдумчиво и не спеша.

Я с удовлетворением отметил, что мой новый компаньон — рыбак еще более заядлый, чем все предыдущие. Просто бредит рыбалкой. Мы закинули удочки, и он стал рассказывать, каких невероятных монстров он вылавливал у себя на даче в Подмосковье. Подобных рассказов я наслушался множество за последние несколько лет, но все равно слушал внимательно — его бред был особенно хорош. Тем более что эти рассказы очень органично сочетались с наблюдением за умершим и уже начинающим протухать поплавком.

Так мы в этот день ничего и не поймали, зато я обогатился свежей порцией рассказов о рыбных ловлях редкой удачи. О том, как уберечься, если попадетсЯ особенно крупный экземпляр, чтобы тот не утащил тебя на дно озера, о том, как надо готовить пойманную рыбу, о том, как надо ее заготавливать впрок, если видишь, что за неделю пойманное не съест.

После рыбалки мы сидели у меня на веранде и пили чай с усталостью вернувшихся с долгой пу-

тины профессионалов. Меня вполне удовлетворила сегодняшняя рыбалка, и я уж думал законсервировать свои снасти до следующего года, но мой друг имел иные взгляды на будущее:

– Я все понял! Мы сделали неправильные снасти. Здесь надо ловить по-другому. Завтра снова пойдем!

Я не очень поверил насчет завтра, но на всякий случай удочки далеко прятать не стал.

Завтра ни свет ни заря он уж был у моих ворот. И мы отправились на вчерашнее водохранилище. Но для начала он пообрыбал с моих снастей крючки, поплавок и грузила и навязал новые. Дорогой рассказывал, какую чудную наживку вчера купил и какую невероятную прикормку наварил.

– Надо только глины туда добавить! – завершил он рассказ о прикормке.

Очень скоро выяснилось, что мы ну просто созданы для совместной рыбалки и очень хорошо дополняем друг друга – я почти ничего не вижу, а он почти ничего не слышит.

Я, конечно, и раньше знал, что он глуховат, но теперь открыл для себя, что он не глуховат, а глух, как тетерев. Просто раньше ему удавалось это искусно скрывать, внимательно следя за губами собеседника. И еще он на всякий случай все время улыбался, чтобы не пропустить удачной шутки или анекдота. Теперь же, когда он смотрел на поплавок, а не на меня, можно было орать что угодно, – он никак не реагировал и даже не улыбался.

Но мы быстро приспособились извлекать пользу из своих недостатков и в соответствии с этими недостатками распределили обязанности – он привязывает мне крючки и подсказывает, в какой части озера мне высматривать свой поплавок, я же слушаю его рассказы, не перебивая и не переспрашивая, – что все равно было бы бесполезным. Главной его помощью было время от времени поглядывать, куда направлен мой взор, не потерял ли я еще из виду свой поплавок, и если я беспомощно шарил глазами по водной глади, он камешком показывал мне, куда смотреть.

Терпение и труд все перетрут, я это всегда знал. Рыба пошла. Первый улов, штук пять рыбин общим весом в полкило, мы съели тут же, на берегу, благо мангал был с собой. Я оказался непревзойденным чистильщиком рыбы – мне было достаточно только пару раз провести ножичком по ее бокам, чтобы понять, что она уже без чешуи. Во всяком случае, благодаря особенностям зрения я чешуи не видел.

Потом мы стали ездить и по другим водохранилищам, подальше. Разные бывают дни, но совсем без

рыбы мы возвращаемся редко. Весь улов, сколько бы его ни было, неизменно отдается мне, потому что рыба очень полезна для глаз, как говорит мой всезнающий друг. Мне бывает неловко, всякий раз хочется отдарить его чем-то полезным для слуха, но чем? Молодильные яблоки у меня не растут. Слуховым аппаратом?

В промежутках между рыбалками мой друг выходит в море с подводным ружьем. Здесь я ему составить компанию пока не решаюсь, несмотря на его настойчивые приглашения – боюсь ненароком подстрелить своего благодетеля. С кем мне тогда рыбачить?

Подстреленную в море рыбу он тоже всю отдает мне, потому что жена ему с некоторых пор вовсе запретила с рыбой домой приходить.

А мне эта здоровая пища впрок – я очень постройнел, покрасивел! Лучше видеть, правда, не стал и не помолодел. Надо бы попробовать все-таки поэкспериментировать с молодильными яблоками.



тратила, убеждая родителей написать и отнести объяснительную классной.

Лучше приврать, чем показаться в школе с этим. Там ведь не будет пощад. Сопли, кашель – неприятные, но привычные симптомы, бывают у всех (поржать и отпустить). Распухшие веки – нечто из ряда вон (затравить, осмеять, распнуть). Такие глаза бывают у мутных типчиков вроде дяди Коли, местного алкаша. Мальчишки бродят за ним гурьбой, кричат: «Дядя Коля, дядя Коля, покажи нам карате!» Он делается бешеный, гоняется за ними – «показывает карате» – они ржут. А еще такие глаза бывают у людей, которые роются в помойках. Их обветренные, багровые лица выглядят одновременно жалко и страшно. Не хочу думать, что я теперь – как они. Я не напивалась и не засыпала в сугробе, но одноклассникам поди докажи.

Глаза болят, нос болит, губы тоже потрескались и болят. Но руки-ноги работают, сидеть дома невыносимо. Тянет сходить куда-нибудь, хоть в магазин во дворе, который виден из окна, с синей крышей. Спускаюсь с пятого этажа; в нашем доме нет лифта, каждая вылазка подбавляет бодрости. А мне надо взбодриться.

Иду по улице и понимаю, каким свежим, сухим и просторным стал предвесенний воздух! Так хочется окунуться в свет, войти в него целиком, как в воду; задрать голову и разглядывать высокие перистые облака. Гуляла бы и гуляла, до самого заката. Но, во-первых, могут увидеть и спросить – чего это ты не в школе, а гуляешь? Во-вторых, хищное солнце, как только я ступаю на его территорию, достает свой скальпель и тянется к моим векам. Тончайшие лезвия надрезают кожу; начинается пощипывать, начинается ныть, начинается гореть. Надвинув вязаную шапку до самых бровей, прыгаю через грязевые ванны асфальтовых проталин, несусь под магазинный козырек. Здесь, в спасительной тени, снова поднимаю голову: небосклон совсем уже мартовский. Нежно-молочные, полупрозрачные завитки стремительно текут на запад, туда, где горизонт заштрихован угловатыми силуэтами оголенных деревьев. Увижу ли, как лес позеленеет? Или мои глаза к тому времени опухнут до такой степени, что веки сростутся? Вдруг я совсем ослепну? Волна саможалости накрывает меня, как порыв пронзительного восточного ветра. Захожу внутрь магазина, протягиваю продавщице деньги и рыдаю. Выглядит так, словно мне страшно жаль расставаться с этой сотней, но хлеб и молоко нужнее.

Продавщица удивленно пялится на меня. Возможно, вспоминает новостные сюжеты о домашнем

насилии. Я, наверное, кажусь ей несчастным подростком, которого годами удерживали в подвале (иначе откуда такое лицо?). Однако она не говорит ни слова (боится связываться с моими взрослыми). Молча подает мне то, что я прошу, отсчитывает сдачу. Сейчас я повернусь спиной, она нажмет красную кнопку под прилавком, сбегутся спецназовцы – спасать меня. Но мне совсем не хочется быть объектом чьего-то героизма; сгребаю мелочь в горсть и ухожу, прижимая к груди шуршащий пакет с еще теплым хлебом и булькающим, прохладным литром молока.

Все, чего я хочу, – вернуться в свою комнату без приключений. Но увы: на первом этаже меня подлавливает соседка, тетя Лида. Она высока, толста, очень разговорчива, не в пример продавщице, и наблюдательна. Тетя Лида работает в банке, выдает людям кредиты, но ей кажется, что она обладает достаточными врачебными компетенциями, чтобы поставить мне диагноз. «Что-то кожное», – говорит она, преграждая мне дорогу к лестнице. Не могу ни обойти, ни уклониться от нее, руки заняты пищевой ношей. «Сходи в кожвен, покажись доктору». – «Куда?» – «В кожвендиспансер. Там все скажут. Нельзя так оставлять, само не пройдет».

Кожвен. Это слово страшнее, чем любой другой диспансер. Оно знакомо мне из глупых сценок КВНа, из трепа старшеклассников. Про одну из десятого «Б» у нас так говорили: «Не обнимайся с Веркой, на ней уже пробу ставить негде, в кожвен загремишь!» Верка перешла в другую школу, а шутка осталась. Не понимаю, как можно ставить пробы, – это же вроде тех, что мы делали на уроке химии? – на человека. Если так поступают в кожвене, я туда ни за что не сунусь. Да и вообще, как говорят бабушкины подруги, это не больница, а притон проституток и наркоманов! Я вежливо улыбаюсь тете Лиде, поднимаю пакет над головой, протискиваюсь между ней и стенкой, исписанной любовными посланиями к «Иванушкам International», и бегу наверх.

Но тетя Лида так просто не сдается. Работа с кредитами сделала из нее человека с железным характером. Вечером она звонит моей маме и пытается вразумить ее, словно имеет на это право. Мама краснеет, вздыхает, вставляет фразы типа: «Я подумала, это просто диатез», «Ну какие оральные контрацептивы, 13 лет ребенку», понуро угукает. Наверное, после такого мама наденет на меня паранджу, чтобы я больше не позорила ее перед людьми. Или вообще запретит выходить на улицу до полного выздоровления – то есть навсегда. Эта мысль подстегивает мои воспаленные железы; слезная

В тех домах живет все руководство нашей школы. Директор с женой-библиотекаршей, мать директора (географичка) и, конечно же, завуч, Ирина Николаевна. А еще там живут учителя из центральной школы искусств. Я окончила основной курс фортепиано всего год назад, меня еще не забыли.

Я живо представила, как вся эта компания возвращается домой – вдруг у них сегодня короткий день? – и тут им на пути попадаюсь я. Опухшая, розовая, просто гуляю возле кожвендиспансера. Допустим, директор меня не узнает, библиотекарша тоже. Да, нечасто я наведываюсь в нашу школьную библиотеку, где за закрытыми на тугой замок дверцами стоят красивые книги для лучших учеников (к коим я, понятное дело, не принадлежу). Старая географичка подслеповата, а вот завуч... Она сразу все поймет. Это профессиональное – сразу все понимать про своих подопечных. У Ирины Николаевны сверхчувствительность ко всякой лжи, ко всякому лицемерию. Даже если оно ничтожно, как брякнуть скверное словцо, не подозревая, что тебя сдадут. О, как она орала на меня тогда, в шестом классе! Вызвала к себе посреди урока, усадила на бархатный бордовый стул. Восстала надо мной, тряся своими короткими искусственными кудрями, и заревела белугой. Я все никак не могла взять в толк, что случилось. Оказывается, я совершила вопиющий проступок – назвала дурой «ту девочку». «Та девочка» была проблемной «переведенкой», конфликтовала со всеми подряд – не только с обидчиками-одноклассниками, но и с защитниками-учителями. Что называется, нарывалась. Вот я и обронила в приватной беседе, что она дура – ну а кто еще, если так выпендривается даже перед теми, кто пытается ей помочь? Единственное это слово поставило на мне вечное клеймо в глазах Ирины Николаевны. Я встроилась во вражий стан тех, кто травил «ту девочку» ежедневно, выбрасывал из окна ее портфель, лепил ей жвачку в волосы. Я, кажется, до сих пор слышу голос завучихи, визгливый и злой, повторяющий снова и снова, как я ее разочаровала.

С другой стороны, выходит, что разочаровать Ирину Николаевну еще больше я не способна. Куда уже ниже – все, плинтус. В каждой девочке старше десяти, вздумавшей нарисовать ногти, ресницы или, не дай бог, губы, Ирина Николаевна своим рентгеновским зрением видела гнилую душу. По идее, она должна быть морально подготовленной к тому, что эти девочки рано или поздно окажутся в кожевене. Но... я же все-таки хочу доучиться. А если она заметит меня в таком месте, то сделает все, чтобы я на-

всегда покинула ее школу. Так сделали с Анечкой из 9 «В». Когда узнали, что она забеременела, ее по-тихому вынудили забрать документы. Никто не знает, что с ней потом стало. Я так не хочу.

Поэтому я иду в свою комнату и тру мои бедные глаза изо всех сил. Подзажившие частицы кожи расползаются, обнажая свежие ранки. Слезы готовы потечь из меня от дуновения сквозняка, не то что от такого мощного механического воздействия. Раскрасневшись пуще прежнего, иду к бабушке. «Что-то мне поплохело, – шепчу я спешшими губами. – Может, отменить запись? Дома посижусь».

Бабушка отвечает, что это вздор, что надо идти, а то вообще все лицо сгниет. Она достает градусник, резко встряхивает его, заталкивает мне под мышку. Результаты физических измерений моего тела показывают, что я могу не только самостоятельно доехать до кожевена, но и «пахать, как молодая кобылка». Если бы у кобылки были такие же заплавленные глаза, ни один конюх не выгнал бы ее в поле. Но бабушка неумолимо отсчитывает сорок рублей на проезд – двадцать туда, двадцать обратно, и чтобы в пять была дома.

* * *

Мне всегда казалось, что корпус кожвендиспансера должен быть похож на военные госпитали из старых фильмов. Сквозь разбитые форточки доносятся стоны больных; возле рухнувшего крыльца толкуются бродяги, прикрывают ветошью обезображенные части своих изможденных тел. Но это оказался просто длинный, тихий дом советской постройки. Некоторые окна зашторены плотными занавесками (приемная), некоторые покрашены изнутри белой краской (туалет). Молодой мужчина в форме медбрата курит за углом, больше – никого. Наверное, толпы страждущих кишат здесь по утрам, а сейчас они уже расползлись по своим убежищам. Подожду, пока медбрат докурит, чтобы зайти внутрь инкогнито. Остановлюсь на противоположной стороне улицы и делаю вид, будто просто кого-то жду.

Конечно же, этот «кто-то» не заставил себя долго ждать. Подъезжает автобус, из него выходит низенькая женщина в желтой меховой шапке. Отряхивает пальто, чинно движется вглубь «немецкого» квартала. Она идет такой знакомой походкой и вот неумолимо превращается в мою бывшую учительницу по сольфеджио. Только не это! Я не видела ее с выпуска, почему именно сейчас? Да, она где-то тут живет, но что, обязательно ей идти домой именно по этой улице?

же нашел какой-то способ, нашел ключик из золота. хотя, возни, конечно, было. и не надо говорить, что там по дереву, а здесь вот железо. это не важно, понимаешь?

но рабица молчала угрюмо.

и Степан Тарасович бросал рабицу в снег с полным намерением. топал ногой и уходил в сердцах.

и тогда начинали струиться какие-то звуки. вступали откуда-то арфы какие-то, тромбоны там, литавры там и прочие инструментари.

а Степан Тарасович не оглядывался, и уходил в сердцах.

и тогда скрипучий и ржавый голосок, отдающий железными нотками. начинал выводить:

*У Курского вокзала
стою я, молодой.
Подайте, Христа ради,
червонец золотой.*

*Вот господин какой-то,
а рядом никого.
Цепочка золотая
на брюхе у него.*

и Степан Тарасович ощупывал брюхо, а потом прыгал обратно, аки лев кудлатый, хватал рабицу и кричал, что хрен-то там, нету никакой цепочки и нечего тут выводить голоском затасканным. что повадились-расповадились тут. а нынче и порядки другие и все очень конкретно. не можешь приносить пользу, не можешь вписаться в рынок – так и не нужен ты никому. и это вот правильно. потому что прогресс идет вперед семимильными прыжками, перепрыгивая через упавших.

и рабица замолкала.

а Степан Тарасович хватал ее в сердцах. и тащил в дом.

Болото

Северюгин вышел вперед и хмуро посмотрел на болото.

– Лежишь, ядрена мышь. – сказал он хмуро.

болото лежало, развальясь под Луной направо и налево. над ним кружили комары и коршуны. кто-то выл.

– и что с того? – сказал Северюгин, и пнул болото.

– и что теперь?

он зашел в болото почти по пояс, но так, чтобы болотные сапоги не зачерпнули.

– затынешь? – сказал Северюгин. – не постесняешься? болото чавкнуло и потянуло сапог.

99

тогда Северюгин засуетился, вырывая ноги. и когда ему это удалось, он упал на берег и лежал некоторое время. а потом стянул болотные сапоги и зашвырнул их в болото.

– выкуси – говорил он – пусть ищут. пусть думают, что утоп. неблагоприятные козлы.

и сказав это, Северюгин пошел домой. но заплутал, поскольку тайга и гнус, и батарейка в телефоне сдохла. и некоторое время покружив, вышел он опять к болоту, где обнаружил спасателей, вытаскивающих баграми его болотные сапоги.

– спасаете? – умилился Северюгин

– еще один дытел утоп – сказали спасатели – чего их сюда тянет?

Северюгин надулсЯ, и не нашелся чего ответить.

и пока никто не видел он пнул болото, убил пять комаров, одного слепня. и плакал.

Звездная выхухоль

когда на крыше появилась звездная выхухоль, была звездная ночь с черным небом и желтыми звездами.

он заметил выхухоль не сразу, а только когда задрал голову вверх и хмыкнул.

выхухоль – подумал он – просто так на крышу не полезет, только если припрет.

жизнь у него с некоторых пор не залаживалась, то налоговая наедет, то недород падет.

и поэтому звездная выхухоль была некоторой отдушиной, которой он боялся признаться даже, и смотрел исподтишка, особенно зажимая правый глаз.

когда он говорил ей, выхухоль, вот, мол, налоговая, вот, мол, приходит, недород, мол, падеж и все такое, то звездная выхухоль смеялась над ним, говорила, вот, мол, звезды, чего им налоговая, вот, мол, планеты, чего им недород или падеж, а потом хохотала.

он стихал на время, любил подкрадываться и смотреть, как звездная выхухоль обвивает серебристым хвостом дымовую трубу, и под не сильным ветром шевелятся ее серебряные усы.

когда же пришла однажды налоговая, он спросил их: видите ли вы выхухоль на крыше, обвивающую дымовую трубу серебристым хвостом?

однако, налоговая инспектор засмеялась, утирая салфеткой глаз.

тогда он пристыдил налоговую, а чтобы разяснилось все, вынес ружье и поводил стволом по разным направлениям, сопровождая звуками.

когда же все уехали, он понял, что времени мало и залез на крышу, под самое звездное небо.

ЖЕНЩИНАМ-ЛЬВАМ ИДЕТ КРАСНЫЙ



АГЛАЯ НАБАТНИКОВА
Родилась в Новосибирске
в 1982 году. Окончила
ВГИН по специальности
«режиссер». Автор фильмов
«Юнгфрау», «Нимфа»
и других. Дебютный сборник
рассказов «Рехилинг» вышел
в 2019 году в издатель-
стве «Энсмо». Член Союза
российских писателей.

Публикации: Textura, «Знамя»,
«Горький», RT на русском,
сборники «Я научила женщин
говорить» (ч. 2), «Новые
писатели», «Рукопожатие
нирпича», «Женский дена-
мерон».

Она не видит почти ничего, эта женщина. Очки-лупы: мутные стекла толщиной в ладонь с круглой прозрачной воронкой линзы. И даже в них она шарит руками по тумбочке у кровати в поисках спиц. Хирург говорит, у нее минус двадцать пять.

Мы лежим на соседних койках в больничной палате, нас готовят к операции. До встречи с Верой я думала, что у меня сильная близорукость – думала, у меня трагедия.

В школе я сижу за первой партой и все равно шурюсь, прижимаю очки к переносице, развожу пальцами кожу у глаз, как китаец, чтобы навести резкость на доску. Я не могу играть в футбол на физкультуре и заниматься прочим спортом. В жару очки соскальзывают от пота, стекла пачкаются, а зимой запотевают при входе в помещение – в метро или троллейбус. Без очков же все погружается в белесый туман, люди превращаются в разноцветные пятна с размытыми краями. Детали предметов или буквы на бумаге возникают в моем мире на расстоянии полусогнутой руки. Девочки смотрят на меня с сочувствием, мальчики спрашивают, не мешают ли очки целоваться. Я, стыдно признаться, еще не целовалась. Причина наверняка они, очки: у ровесниц в пятнадцать лет личная жизнь складывается удачнее.

В больнице мои минус восемь оказались не худшей долей.

Вера на ощупь вяжет сложные конструкции типа носков, носит байковый халат в цветах и прическу каре, закалывая челку гребнем. Вера делает все, что делают старухи. Однако из-под халата проглядывает гладкокожее тело с тугой грудью. Ноги с тонкими лодыжками находят тапочки изящным аристократичным движением. Волосы у Веры пепельно-русые, пушистые и мягкие. Следуя привычному пути в столовую, Вера иногда забывает, что слепа: ее походка становится легкой, бедра покачиваются. Вере около сорока – как моей маме. Но зачем-то ей хочется быть старше. Вера – красивая, статная женщина. Красивая женщина, закрытая в панцирь.

В столовой пахнет разваренным рисом и молоком, тетки с кухни гремят железными чанами с красными инвентарными пометками: римскими цифрами, начертанными масляной краской. За окном нет жизни, кроме наших отражений; лысеющие ветки деревьев качаются от февральского резкого ветра; время стоит. Мы с Верой доедаем свой ужин под болезненно белым электрическим светом. Сероватый хлеб с маслом, чай с сахаром. Ни я, ни Вера не увлекаемся едой, мы скорее заставляем себя есть. Поход в столовую – нехитрое развлечение заключенных в больнице.

Больница все расставляет на свои места. Ты оказываешься в коридоре реальности, где время тягу-

Мама не верила во врачей. Она пригласила ко мне методиста, который занимался улучшением зрения по Бейтсу.

– Решила его постричь. Но ведь накануне муж пришел и рассказал мне об этой! – В слове «этой» прозвучал мучительный стыд.

— О женщине? Что же он, сказал, что влюбился? Что уходит?

Мне интересно, как расстанутся мужчина и женщина. О разводе родителей я знаю лишь условности – «не сошлись характерами». Была ли там замешана новая папина любовь, я не знала.

— Я прогоняю, он не уходит. Я хожу в халате, он не уходит. Перестала стричься в парикмахерской. Говорю – видишь, я слепая! Агния, я хрюсь ножницами, а он так закричал, знаете, и сиганул, как пружина! Чувствую, у меня руки мокрые, кровь, понимаете?

Я с трудом поняла, что речь перескочила с мужа на кота, который, видимо, волнует Веру намного больше.

– И обида такая в голосе! Предательница... Можно так сказать про животное – в голосе?

— Вам сделают операцию, и все станет лучше! Вы и сейчас немного видите. Вы не слепая, Вера.

— Он переспал с другой, потому что я слепая.

— Нет, Вера, дело не в этом!

– Откуда вам знать, в чем дело, вам всего пятнадцать.

Вера задрезбжала голосом, давая понять, что больше не контролирует свои эмоции. Дождь слез просыпался. Тревога последних дней вылилась в короткую облегчающую истерику.

— Свиридов говорит, вы очень красивая женщина.

Вера растерянно замолчала.

— Он так говорит?

— Думаю, ваш муж признался вам, потому что хотел быть честным.

— Он так и сказал.

Наверное, Вера была откровенна со мной, потому что боялась операции.

– Говорит, что любит меня, а эта женщина – случайность. Мы плакали вместе. А потом я чуть не отрезала кошке хвост.

На нас вдруг зашикали бабки с других кроватей. Мы углубились в ночь в наших беседах, не заметив интересов окружающих. После десяти в палате отбой. К счастью, никто не вмешался в разговор. Для соседей по палате мы странные: женщина средних лет и девушка-подросток. Обе полуслепые, поддерживаем друг друга под руки, церемонимся, не переходим на ты. Впрочем, я вижу намного лучше Веры.

* * *

|||||

Мама принесла немного новых вещей, я попросила. Сама она не понимает, зачем разнообразие в одежде. У меня очень мало одежды, которую я выбираю сама. Ношу то, что отдают мамы подруги от подросших дочерей. Иногда попадаются действительно классные шмотки – с золотыми бусинами или кружевами. Но везет редко. Чаще одежда «с барского плеча» мне совершенно не подходит – унылые черные и зеленые цвета. Сейчас я попросила принести красную майку. В тоскливом интерьере больницы так хочется ярких пятен!

На кофточке с надписью Brazil болтается ценник. Синтетическая ткань разъезжается под пальцами: дешевая ерунда из лавочки в переходе.

— Нам нужно экономить, — торопливо оправдывается мама, поймав мой расстроенный взгляд. — Доктора надо отблагодарить.

Я ошарашена.

— Он хочет взятку?

Мама шикает на меня. Нас могут услышать – например, медсестра или болтливый сосед. В палате никого – все ушли смотреть телевизор. Он тут в холле, включают его по часам. Заключенные больницы смотрят мексиканский сериал или новости, ссорятся из-за выбора кнопки. Мрак.

— Это лучший хирург в стране. Если хочешь быстро попасть в очередь, нужна благодарность.

— И сколько это?

– Тебе не нужно знать. Нам это несложно.

Мы, действительно, можем себе позволить домработницу, отдых у моря, мою элитную математическую школу. Я горько вздыхаю – майка с надписью Brazil ужасная. У мамы совершенно нет вкуса, а экономия не позволяет купить хорошую вещь случайно.

* * *

|||||

– Ваша близорукость – от потери отца. Вы сильный человек, но у вас уязвимое место. – Вера машет рукой, мол, знакомая история. – Нарушение аспекта Сатурна.

- Вы астролог?
- Нет, просто увлекаюсь.
- Вера вяжет фигурный носок, не глядя на спицы. Я различаю предметы на расстоянии полусогнутой руки, а Вера, наверное, может видеть только пальцы у носа. Однако тонкие пальцы ловко ходят, перехватывая нити, искусно поддевая петли. Это не Вера вяжет носок, носок сам вяжется ее руками.
- Как давно ваши родители развелись?
- Мне было восемь.
- А когда зрение начало падать?
- Честно говоря, не знаю. Меня впервые отвели к окулисту в девять лет, и сразу обнаружилось минус три с половиной.
- Вера хмыкнула и покивала. Я чувствовала стыд, привыкла, что маму осуждают врачи. «Вы что, не замечали, что ребенок щурится?» Да, у мамы не было времени следить за моим здоровьем, она работала. Но Вера думала о чем-то другом.
- Вы общаетесь с отцом?
- Нет, он пропал. Даже не знаю, где он живет.
- А лицо его помните?
- У меня есть фотографии. Хорошо, что мы не похожи! Он толстый. Мама о нем не вспоминает.
- Знаете, Агния, я думаю, мы не хотим видеть такой мир. В котором все это возможно.
- Вера глубоко вздохнула и положила вязание на колени.
- Может быть, дело все-таки в Сатурне?

* * *

Медсестра приглашает внутрь: темный кабинет занимают крупные белые станки, аппараты для изучения глаза. Час назад мне закапали в глаза горькое лекарство, и даже при электрическом свете приходится надевать темные очки, настолько чувствительным к свету становился взгляд. Я кладу голову в пластиковую выемку, давя лбом, чтобы зафиксировать череп. Глаз сам, помимо воли, фокусируется на картинке, изображающей одинокий парус. Аппарат с неуловимым запозданием наводит резкость. Врач – женщина за столом – заносит снятые данные в карту. Медсестра водит от одного станка к другому, как в парке аттракционов. Путь кончается у столика, где женщина-врач старинным методом изучает мое глазное дно. Надевает лупу и светит в глаз фонариком. Под грубоватые команды «вверх, влево!», «вниз!», «я сказала, вниз!» то опускаю, то поднимаю взгляд. Текут слезы. Насилие превращает меня из человека, который смотрит на мир и ви-

дит, в кусок беспомощной плоти с показателями. Глазное яблоко трепещет под чужими давящими пальцами. Мне больно. Глазное яблоко – круглый шар в моей голове, покрытый слизью, насыщенный сосудами. Сосуды то и дело лопаются, делая белки мутными и розовыми. Яблоки вышли из-под контроля: безмерно увеличиваются, ослепляя меня. Я пытаюсь себе представить, как они разбухают внутри черепа. Остановить их можно, только заклинив в искусственные костыли-ограничители. К такой операции меня и готовят.

* * *

Лифты в больнице – сущее наказание. На них ездит персонал, возит железные тележки со страшными инструментами, прикрытыми тряпкой, или пустые инвалидные кресла; в лифтах всегда люди с испуганными лицами – посетители. Для доставки пациента на операцию отдельный лифт – грузовой. Скоро и меня повезут на громящих носилках на последний этаж – операционная там. Я не хочу ездить на лифте. Поэтому я использую лестницы. Там пусто – больничным заключенным не приходится в голову перемещаться своими ногами. Мы все здесь похожи на роботов, забытых хозяином.

Горькие капли стекают у носа – салфетку я, как всегда, постеснялась попросить. Неуклюже вытираю влагу плечом в майке. Пролетом ниже вижу Веру, она в красном платье, в накинутом мужском пуховике. Беседуют: он ниже ростом, широко расставленные ноги борца, кроткий взгляд голубых глаз.

- Не приходи. На апельсины твои у меня аллергия. – Вера держится с большим достоинством. Никто бы не подумал, что она слепа.
- Я буду приходить. Разрешите мне, Вера.
- Не трать время. Займись тем, что тебе интересно. – Вера явно имеет в виду что-то конкретное под этим «интересным». Она разволновалась и уперлась рукой в подоконник.

Я затаилась наверху. Я не подслушиваю, нет. Просто не хочется смущать Веру.

- Мне только ты интересная.
- Вот как. – Вера явно не верит, холодно отворачивается.

Мужик мнетя с пакетом апельсинов, боясь подойти ближе. На нем спортивные штаны с блеском. Никогда бы не подумала, что они с аристократичной Верой – муж и жена.

- Что с котом? – Неожиданно у Веры вздрагивает голос.

– Здоровый. Показал ветеринару. Заживет всё. Кот Бегемот! – пошутил мужчина, обнажив в наивной улыбке кривые зубы. Неужели он читал Булгакова? Вера с облегчением подхихикнула.

Вера была совсем другой с мужем – не такой хрупкой, какой знала ее я. С этим парнем, похожим на гангстера, она была королевой. И эта гордая роль была для нее интимной: не для чужих глаз.

* * *

В кабинете Свиридова открывается отличный вид из окна. Индастриал в снегу с высоты пятнадцатого этажа. Фиолетово-оранжевый закат. Снаружи толпятся старушки с прикрепленными пластырями повязками на глазах и прочие просители. Свиридов – один из лучших хирургов. К нему едут издалека, чаще всего напрасно. Для наиболее агрессивных ходоков он находит пару слов, останавливающих на подлете. Нестандартное мышление Человека Возрождения делает ход навстречу ригидному мышлению робота с двумя ходами – мозгу обычной старушки; и робот зависает.

– Александр Николаевич! У меня в глазу что-то колется...
– Я вас прооперировал месяц назад?
– Да.
– Вы видите?
– Да...
– Я сделал для вас все, что мог.

Поймав паузу, Свиридов спокойным шагом проходит в кабинет. Внутри же царит атмосфера слегка холостяцкая. Деревянный резной глобус, бар за скрытой дверцей.

Ко мне Свиридов расположен. Его взгляд становится теплее, останавливаясь на мне.

– Думаю, вы готовы к операции. Но я еще хотел с вами поговорить.

Свиридов достал бутылку дорогого на вид виски и плеснул на дно стакана из толстого стекла, где-то на треть пальца.

– Мой рабочий день закончен, у меня теперь только консультации, – пояснил он про выпивку, мне было все равно.

– У меня отрастут ресницы?

– Конечно, Агния. Не беспокойтесь. Красота вернется. Кроме того, мужчинам не так важна красота, как вы думаете. Интересный разговор важнее. Я пожалала плечами. Лучше бы ресницы отросли.

Глотнув, Свиридов откинулся в кресле. Он похож на индейского вождя – смуглый, в глубоких морщинах. Шестьдесят лет: спина прямая, движения ре-

жут воздух коротко и уверенно. В нем чувствуется хищник – возможно, он возьмет дикого зверя голыми руками.

– Какое-то время после операции вы не будете видеть, мы снимем повязки не сразу. Белки глаз будут в крови – это тоже пройдет.

На железный карниз за окном сел голубь и постукивает клювом по стеклу, выразительно глядя на меня черными бусинками. Я вижу каждое перышко, переливающееся голубым и зеленым. Счастливчик оказался в зоне моего зрения – зона невелика, только для самых близких.

– Главное, что после операции вам нельзя будет рожать самостоятельно.

– Как, нельзя иметь детей?

– Можно, но только через кесарево сечение. Знаете, что такое кесарево сечение?

– Богу богово, а кесарю – кесарево.

Свиридов усмехнулся.

– Такая операция может повлечь другие трудности, с кормлением, с иммунитетом ребенка. Вы должны это знать. Для вас главное выносить.

– Меня это не волнует. Я даже не целовалась ни разу.

Свиридов захохотал раскатистым басом, как оперный артист. Заблестели глаза, но миг веселья быстро закончился. Встряхнувшись, он вернулся к серьезному тону.

– Я хотел сказать, что выбор делать или не делать операцию у вас не стоит. Миопия будет расти. Но я слышал, некоторым упорным людям удается поднять себе зрение упражнениями.

Мне совсем не хотелось рассказывать Свиридову про методиста и наши упражнения. А может, он знал от мамы и посмеивался надо мной.

Голубь продолжал флиртовать со мной, курлыкая и постукивая в стекло.

– Вера не сделала такую операцию вовремя?

– Какая Вера? А, ваша соседка по палате?

Свиридов задумался. Он почти допил виски, мышцы расслабились – готовый к прыжку индеец растекся по креслу.

– Вера красивая женщина. Но она не хочет быть здоровой.

– У нее проблемы с мужем.

– Она и про это вам рассказала? Впрочем, не сердитесь, она не видит, что вам пятнадцать, она почти слепа.

– Вера все чувствует. – Я изобразила, как она слушает, наклонив голову набок и поправляя челку.

– И это тоже правда. – Свиридов улыбнулся. – Некоторые женщины выбирают быть несчастными.

Это мама. Только мама может взять за руку так, что по руке потекут силы. Ко мне приходит новость: «я живу!».

Хирург и заведующий отделением микрохирургии глаза убрал следы преступления в ящики стола.

- Александр Николаевич! – Кто-то снова постучал и заглянул в дверь.
- Я занят! – Хирург кивнул мне в знак того, что разговор окончен.

Мне показалось, или он пытался отговорить меня от операции?

* * *

Я прихожу в себя от громкого чириканья. Птицы гомонят за окном. Наверное, там, откуда льется мутный белый свет, и есть окно. Глаза, однажды открывшись, с трудом закрываются – веки оклеены липким, голова забинтована. Туман. Вместе с острой резью в глазах я чувствую, как меня взяли за руку. Это мама. Только мама может взять за руку так, что по руке потекут силы. Ко мне приходит новость: «я живу!».

- Доча, я почитаю тебе книгу. Попить хочешь? На свет не смотри, а то заболит голова. Пойдем, я помогу тебе сходить в туалет. Обопрись на меня, вот так.

Голова, действительно, как чугунная, в глазах страшно режет при моргании. Маму я не вижу, но ее голос и родной запах успокаивает.

- Тебе звонил одноклассник.
- Какой одноклассник?
- Прости, я не запомнила, как его зовут. Он хочет навестить тебя. Я подумала, ты обрадуешься. Ты утверждала, что у тебя нет друзей!
- Я плохо выгляжу?

Пауза выдает, что мама улыбается и подбирает ответ.

- Веки немного красные. Но это пройдет, не волнуйся.
- Купи мне темные очки. С диоптриями.
- Договорились.

Представляю, что она купит. Хотя разве мама может принести что-то плохое? Любая ерунда будет пропитана ею. «Встань и иди», – шепчет каждый предмет от нее.

* * *

- Как вы себя чувствуете? – Свиридов щелкает перед моим носом пальцами. Меня это раздражает. Наверное, реакция ему о многом говорит. – Операция прошла хорошо, вы быстро восстанавливаетесь. Боль сильная?

- Где Вера? Мне тяжело молчать весь день. Не могу читать, не могу смотреть телевизор. В палате никого. Я лежу как мумия.

Слезы потекли через уголки глаз на уши. Касаться глаз пальцами мне запрещено. Щекотно.

- Потерпите. Веру выписали, пока вы спали. Она просила передать вам красное платье, я отдал вашей маме. Вот поправитесь, побегите в нем на бал.

- Как выписали? Ведь у нее операция?
- Она отказалась от операции.
- Как отказалась? Но ведь она ослепнет?
- Это ее решение. Возможно, правильное. Шансы все равно были маленькие, я ее предупредил.

- Она вернулась домой?
- Да, ее забрал муж.
- Но ведь у них проблемы?
- Агния, в отношениях мужчины и женщины все сложнее, чем вы думаете.

Ко мне подошла медсестра и вытерла слезы салфеткой.

* * *

- Где тут можно покурить? – Максим солидным движением достает из школьного рюкзака розовую коробку «Собрания». В ней – зеленые, желтые и голубые сигареты, как радуга.

- Только на улице.
- Тебе можно на улицу?
- Нельзя.

Оглядываюсь: у процедурного кабинета ни одной медсестры. В душную палату не хочется возвращаться.

- У меня верхней одежды нет. Забрали, когда я поступила.

Мой видок – спортивные штаны, красная футболка Brazil и резиновые тапочки. Я в темных очках для маскировки, их то и дело приходится приспускать, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Удивитель-

но, но рядом с Максимом я ощущаю себя красивой, несмотря на лысые опухшие веки, налитые кровью глаза и весь этот look.

- Я дам тебе свое пальто. – Максим подмигивает и направляется мимо лифтов к лестнице, крутя на пальце зеленым пластиковым номерком из гардероба. Он тоже предпочитает лестницы.
- А ты не замерзнешь?

Максим, не ответив, усмехается. Умный троечник, подающий остроты с задней парты. Большой нос, торопливая речь. Подруги нет, в любовных связях с параллельными классами не замечен. Наверное, пришел сюда из человеколюбия, из жалости ко мне.

Весна уже раскачалась вовсю. Снег стаял, обнажив грязную наледь с черными прогалинами, полными окурков. Над больницей радостно носится стая голубей, выписывая пируэты. Среди них и мой дружок с глазами-бусинками. Мне совсем не холодно, от свежего воздуха с непривычки кружится голова. Тело пьет этот воздух, как воду.

- Чертовы собачники! – Максим сердито вытирает о рыхлый сугроб испачканную кроссовку. – Почему не запретят выгул у больницы?!

Мы заходим за угол, скрывшись от толпы врачей-курильщиков на крыльце. Я боюсь, что мой побег обнаружат. В скверике мы облюбовали лавку. Максим нашел мокрую картонку и подстелил мне под ноги – я села на спинку прямо с ногами. От накинутого на плечи пальто крепко пахнет мужским парфюмом. На солнце я замечаю, что Максим только что постригся – волосы над ушами топорщатся, не привыкнув еще к новой форме. Видимо, он тщательно готовился к встрече. Как выгляжу я сама, страшно даже думать, и я не думаю, наслаждаясь волей, сладким воздухом, тем, что ко мне приехал в гости мальчик.

- Когда у тебя пройдет? – Щурясь, Максим мазнул рукой перед лицом, где-то в области глаз.
- Говорят, через месяц.
- Ты не будешь носить очки?
- Буду. Мне остановили падение зрения, но близорукость осталась.

Максим понимающе покивал, как будто знал, о чем речь. Закашлялся. Он курил уже вторую разноцветную сигарету, стараясь не дымить на меня.

- Я, кстати, хотел спросить. – Уши у Максима покраснели, он отвернулся, как бы наблюдая фигуру прохожего. – А тебе очки целоваться не мешают?

Фигура в капюшоне приблизилась. К моему ужасу, это Свиридов, в гражданской одежде. Энергичный шаг замедлился у нашей лавочки; я боюсь и шелох-

нуться. Свиридов окинул всю композицию хитрым взглядом и прошел мимо.

Максим инстинктивно улавливает, что нас застукали, и растерянно следит за моей реакцией. Виноват?

Я жду, что меня будут ругать: глаза после операции беззащитны перед инфекциями. В конце концов, я могу простыть на обманчивом весеннем солнце и запороть восстановление.

- Агния, вы идете на поправку! – услышали мы возглас. – Я доволен! – Свиридов развернулся на носках туфель и продолжил движение по заданной траектории, насмивывая.

Обычный мужик с рябым полиэтиленовым пакетом под мышкой, каких на улице миллион.

Декабрь 2019 – январь 2020 года



СКОЛЬЗКАЯ РЫБА ДЕТСТВА

РАССКАЗ



ВАЛЕРИЙ ПЕТНОВ

Родился в Ниеве в 1950 году. Окончил институт инженеров гражданской авиации в Риге. С мая по июль 1986 года призван из запаса и работал на ликвидацию последствий катастрофы на ЧАЭС, в качестве заместителя командира роты радиационно-химической разведки.

Автор книг «Скользкая рыба детства», «Мокрая вода», «1000 + 1 день», «Бегал заяц по болоту...», «Старая ветошь», «Намертон», «Оккупанты», «Хибануша», «Предсказать прошлое». Переводился на латышский, польский, сербский языки. Живет в Риге.

Солнце яростно пробивалось сквозь плотную ткань.

Андрей проснулся сразу. Шторы цвета кофе с молоком. Лежал, рассматривал рисунок. Завитки, похожие на виноградную лозу, были почти коричневыми, заплетались барашками затейливо.

Жена спала рядом. Андрей разглядывал витиеватые сплетения, завитушки «усов». Вдруг он подумал, что они похожи на гребни волн, чередой догоняющие друг друга.

Он вспомнил высокий глинистый берег. Ослепительное зеркало воды.

Река. Широкая – на уровне глаз. Да – берег высокий и глинистый. Он и одноклассник Серега ловят раков. Запускают руки в норы, ждут, когда рак схватит клешней палец, чтобы сразу выкинуть добычу на берег. Руки, ноги, живот – в воде, спину обжигает беспощадное солнце, и хочется окунуться в воду, освежиться хоть немного.

Пацанва купается, лето в разгаре. Вдруг вдоль руки стремительно, будто стараясь вырваться на волю, изогнулся плавник. Скользнула рыбина. Что-то щучье и змеиное одновременно в длинном, узком теле мелькнуло, вскинулось навстречу и тотчас исчезло в плотной илистой мути.

Вода всколыхнулась, нежно щекотнула руку. Он не успел подумать – от чего это так? А рыба уже ударила хвостом, брызги воды в лицо – ослепили. Заставила вздрогнуть, напугала пружинистым на-

пором сжатого тела, спасая свою жизнь. Он ужаснулся, заслоняясь руками. Увидел особенным зрением все это – сразу, но как бы со стороны.

Потом, хватаясь за корешки, выступы, оскальзываясь на глине, мокрой от обильно стекающей с него воды, мгновенно взлетел наверх. Мелькнуло на солнце влажным, загорелым телом.

Страх помог. Стоял, дышал глубоко, освобождаясь от пережитого только что, стесняясь своей трусливой стремительности, смотрел вниз. Река, узкая в этом месте, изгибалась и плавно катилась дальше. Белая от солнца, равнодушная.

Рыба ушла, исчезла в прибрежной мути, словно и не было ее вовсе.

Серега – стриженный под ноль, крепко сбитый. Большеносый, белозубо смеялся, лучился загорелым лицом, глядел из-под берега, снизу, стоя по грудь в желтой взвеси взбаламученной воды.

– Эх ты, рыбак! Налима упустил! Килограммчика на два! У него такая большая печень. – Показал руками. – И-и-и, скусна-а-ая! А питается – падалью! Так что не переживай! – Серега махнул рукой.

Потом засмеялся, видно, не со зла укорил рыбацким невезением, побрел к пологому спуску – немного дальше, чтобы спокойно взойти на берег.

Он жил недалеко, в частном доме, брал с разрешения отца лодку и знал про реку очень много. Больше, чем Андрей про свой микрорайон.

Андрей досадовал на невезение, но успокаивал себя тем, что уж очень рыба скользкая, руками не схватить, и в нем возникло брезгливое ощущение от слова «падальщик», представил вялое шевеление утопленника среди плавных извивов водорослей, в легкой придонной мути.

Подумал, словно оправдываясь и молча соглашаясь с Сергеем:

– Вот и хорошо, что ушла! Зачем мне нужен... трупоед! Невелика радость от такого.

...Андрей лежал с закрытыми глазами, боялся шевельнуться и потревожить чуткий сон жены. Прислушался. Спит беззвучно – не показалось. Свернулась калачиком и ничего не знает про налима. Он подумал о том, какая она деликатная. Стало радостно и грустно одновременно.

Ему захотелось приобнять, сграбастать Алену, увидеть милое лицо, поцеловать, закопаться в одеялах и простынях. Искать, прикасаться друг к другу, смеяться и дурачиться. Он придержал дыхание, потом беззвучно вздохнул.

Отдаленно слышались через приоткрытое окно птичьи голоса из березовой рощи за домом. Кто-то коротко просигналил, разговор, хлопнула дверца автомобиля, легкий шум – уехали.

Дочь была у бабушки, можно расслабиться и блаженствовать, не смотреть на часы.

Суббота.

Он накинул рубаху. В синюю с белым клеточку. Со студенческой поры ему нравились рубашки в клеточку. Куртки-ветровки и одежда, в которой было много карманов. В них помещались ручки, книжки, диктофон, сигареты и обилие разных, необходимых и важных предметов. При этом руки были свободны. Можно было шагать долго и далеко, помогая себе, давая отмашку руками.

Он сидел на кухне в трусах и полузастегнутой рубашке, пил кофе, раздумывал мучительно – закурить или сначала умыться. А уж потом закурить и еще выпить чашечку кофе. Решил, что если начнет умываться – разбудит жену, тотчас закурил, глубоко затыкнулся, ощутил легкое головокружение от первой сигареты и еще сильнее захотел выпить кофе.

Мобильник нудно завибрировал, задвигался над сердцем, в кармане рубахи. Пульсировал зеленым светом, проявился настойчиво сквозь ткань противным насекомым, словно пытался выпрыгнуть на волю. Сразу захотелось его прихлопнуть и сидеть в тихом раздумье, смотреть в окно и спокойно курить.

Он достал из кармана мобильник.

Андрей – редактор отдела новостей. Единственное, что омрачало сейчас его хорошее настро-

ение, – дежурство в редакции. А это – лотерея: выдернут на срочный вызов или нет! Пять минут на сборы – и вперед! Новостная лента должна двигаться непрерывно, иначе возникнет информационный вакуум и грянет взрыв беспокойного любопытства и – катастрофа. Невозможно остановиться, надо все время думать о том, чтобы выдавать в эфир все новые и новые новости. Такая технология.

– Желательно – свежие новости. Срок их годности – семьдесят два часа. Старых новостей не бывает. Только новые новости... Вот еще – типичный пример тавтологии!

Он глянул на дисплей. Мобильник показывал 8:47. Высветилось имя – «Лена», и он ответил.

Это была Ленка Осипова, дежурный редактор.

– Спишь? Не разбудила? – Наждаком по уху, голос долго молчавшего курильщика со стажем.

– Нет – не спишь! Это ему кажется. Бегущей строкой, титрами понизу экрана – «Это ему кажется», – ответил тихо. – Во сне – бормочу.

Ленку представил в свитерке, джинсиках, рука на отлете, сигарета – вечный дымок негасимого вулканчика – курится. Мать-одиночка. Конечно, поэтесса, член литобъединения и автор-исполнитель собственных песен. Вечная романтика!

– Извини, Дрю. Я на выпуске, не сорваться.

– Ладно... Чего уж там – вещей! Что-то срочное?

– «Горячий пирожок»! Позвонили из вэчэ. Майор... сейчас, да, вот – фамилие. Фундамент копали строители с утра пораньше, чуть свет не спамши. Обнаружили мины неразорвавшиеся. Много мин. Адрес... Да! Запишешь? Запоминай. Машину прислать?

– Будет тебе – всю редакцию поднимать по тревоге. Пока Михалыча подгонишь, все уже разбежится! Пехом доберусь. Это же новостройка в моем районе. Пару остановок. Попробую успеть к вечернему выпуску со своей горячей байкой.

– Если что – с диктофона на мобилку запишу, подмонтирую, – пообещала Ленка.

– До связи.

Бриться Андрей не стал. Умылся на кухне, рот ополоснул. Рукой смахнул со щетины на подбородке непослушные остатки влаги. Свежесть осталась.

Залпом допил кофе.

Разгрузка, сумку привычно на плечо. Вышел, тихо прикрыл двери.

Середина мая. Одуванчики весело подсвечивают желтыми фонариками газоны. Окраина города. Когда-то тут были огороды, да строители их разорили. Фундаменты хибарок, летних времянок – укрыться от солнца, инструменты сложить, карка-

сы тепличек с рваными лохмотьями старой пленки. Сиротливо, без хозяев. Почему-то особенно жалко стало отцветающие яблони, вишни, сливы и груши. Кусты черной смородины, крыжовника. Черемуха тоже отцвела, и было по-летнему тепло, но она – растение вольное, не огородное. Само себя защищает, напомним кратким похолоданием.

– Черемуха – русская сакура, – включил диктофон, записал эту странную фразу.

Просто так, чтобы проверить, работает ли диктофон.

Прошел за ворота – хлипкий каркас, сетка-рабица поверху. Пробирался через горы песка, строительного мусора. Большой микрорайон активно застраивался.

Котлован неглубокий огорожен, кое-где сваи торчат. Желтый, влажный песок. Экскаватор с поднятым ковшом. Криво, на прутиках-рейках, висела пестрая лента ограждения. Машина армейская зеленая – «разминирование» на борту, молчаливая мигалка на кабине. Рядовой ходит с жезлом, в каске, следит, чтобы не приближались любопытные. Строители угрюмо толпились, курили у бытовки и приближаться не собирались.

«Первый ТВ-канал еще не пронюхал! Хорошо! Мы сегодня первые!» – порадовался молча Андрей.

Он показал удостоверение сонному охраннику, назвал фамилию майора, прошел к самому краю котлована. Наговорил текст про то, что город спит, а вот тут осколки прошедшей войны напоминают о себе подгнившим больным зубом. Затаилась опасность!

Попросил экскаваторщика завести двигатель, поработать несколько минут. Повторил «отказ» – «затаилась смертельная опасность, а город спит». Махнул рукой – стоп!

– Ковш буквально в сантиметре прошел, рядом, и вот, с угла, – вижу, чушка такая... ржавая морда торчит. А там – еще... и опять – еще, – делился наблюдениями экскаваторщик.

«Хорошо! Живая реакция. Надо будет сохранить это косноязычие», – подумал Андрей.

– Мы фундамент под нулевой цикл двенадцатизатки должны были сегодня выработать, я прораб на этом участке, – делился неказистый мужичок в спецовке с цепким взглядом из-под кустистых бровей.

Потом сунул корявую дощечку руки. Андрей машинально протянул навстречу свою. Прораб сжал ее, стало больно. Пришлось выдергивать, стало неприятно, и он отвернулся, чтобы не закричать на невзрачного человека.

Из армейского «бобика» вышел майор. Поздоровались. Андрей включил диктофон, познакомились – еще раз, для эфира. Фамилию записал в блокнот, майор прочитал, кивнул – верно. Попросил подождать немного, видно, волновался, потом махнул рукой, и Андрей включил диктофон.

Майор кратко доложил, что мины старые, немецкие, четырнадцать штук. На подушку песчаную сложены в машине. Сейчас их вывезут на полигон и уничтожат. Помолчал.

– Стодвадцатимиллиметровые мины. Немцы украли у нас образец миномета. До войны. Потом документацию захватили в Харькове, на заводе, когда наступали. Тыщи три их успели наклепать за войну. Может, и больше – чуток. Я думаю, кого-то расстреляли за это... разп... раздолбайство, – сказал майор, – как врагов народа!

«Ленка подчистит... без расстрела. Это уже другая тема», – подумал Андрей и спросил:

– Сложно было? Опасно? Можно к этому привыкнуть?

– А вы как думаете? Ржавые – вот в чем затыка. Весит она пятнадцать кило. Взрывчатки в ней три кило. Практически боеспособные. Взведенное состояние. Каждый раз по-разному, понимаете! Двух одинаковых случаев не бывает.

«Кило, кило, – подумал Андрей, – как яблоки ведрами на базаре».

Полиция прибыла с мигалкой.

«Сейчас включают сирену, запишу для антуража, фоном, и поеду в редакцию», – подумал Андрей.

Привычно и буднично.

Майор стоял, думал что-то свое, оглядывал строго происходящее на стройплощадке.

– Не хотите с нами? На ликвидацию, – спросил пытливо, в глаза смотрел прямо.

– Я уж думал, самому напроситься, да постеснялся. Хорошая идея! – сразу согласился Андрей и подумал: «Времени до эфира навалом, но может получиться полноценный репортаж».

Они тронулись в путь. Двигались неторопливо, будили сонную тишину улиц. Полицейские впереди предупреждали по громкоговорителю. Слова отскакивали эхом от панельных домов, накладывались тревожно, люди появлялись на лоджиях, быстро исчезали.

Дорога пустынная. Хорошо, что день нерабочий, ротозеев нет.

Андрей наговаривал в диктофон про все, что видит. Получилось несколько патетично, на фоне сирены, а еще и взрыв, перед финальным отказом запланировал. Немножко мелодраматизма – но очень хорошо ляжет к финалу репортажа.

Он был доволен.

Майор оглянулся, глянул на Андрея внимательно, промолчал.

– Лесом едем – лес поем, степью едем – степь поем! – пошутил Андрей. – Специфика работы.

Получилось, вроде как извинился за многословие.

Майор и солдат-водитель переглянулись, промолчали.

Полицейские развернулись у края леса, уехали. Потом пошла лесная дорога. Машина двигалась медленно, осторожно – вперевалку, словно лежало поперек кузова коромысло, а по краю ведра до краев с водой, и нельзя было расплескать ни капельки.

Где-то в стороне мелькнул несколько раз забор из бетонных плит, кубиками напомнили плитку белого шоколада, колючая проволока на столбах смотрелась странно среди густого, спокойного леса.

Андрей это обстоятельство отметил, но вдруг опять вспомнил рыбу, попытался представить сейчас, как выглядела тогда река, и не смог. Ему остро захотелось этого, но в памяти были лишь яркие солнечные пятна, промельк плавника, ослепительные блики на воде мешали, гасили другие впечатления. Он почувствовал досаду, а тут уж и приехали.

Сержант и рядовой осторожно нянчили мины, переносили на руках в неглубокую ложбинку на открытой поляне. Андрей из-за сосны, там, где указал стоять ему майор, наблюдал на расстоянии, как ловко и уверенно работают саперы. И опять ослепило яркое солнце, словно кто-то сверху пускал зайчиков, стараясь попасть точно в глаза, отвлекал Андрея от основного действия на поляне.

Он неожиданно понял, что лес тогда, на противоположном берегу реки, выглядел точно так же, как этот сейчас. Разве что колючей проволоки не было. Зеркало поиграло бликами, Андрей увидел себя мальчишкой в глинистой мути, по пояс, у берега, собственные страхи сейчас вдруг показались по-детски смешными.

Он отогнал наваждение.

В лесу тишина, душно и сухо, спичку поднеси – и вспыхнет, только птицы какие-то невидимые не знают ничего, тенькают негромко. Он поднял голову. Давящая духота гнетет к земле – будет гроза.

Взрыватели ему показали шнуры белые, похожие на электрические провода. Наверное, бикфордовы. Засомневался в названии, решил спросить у майора, уточнить. Попросил зажечь небольшой кусок, отвлекся. Огня не было видно, лишь легкий серый дымок быстро двигался внутри шнура – шипел неот-

вратно и негасимо, оставляя невесомый пепел. Записал эту фразу – пригодится. Перед взрывом встать неплохо. Или на фоне разговора. Может быть, стихотворение про войну наложить на взрыв при монтаже? Так будет короче, и слова не затерты.

– Вы, я вижу, все подряд записываете, – сказал майор, – а сколько про это все будете рассказывать?

– Минут пять-семь!

– Так у вас уж, кажется, на целый час набралось! – сказал майор.

– Как говорил Антон Палыч Чехов, чтобы написать хороший рассказ, надо иметь на два. Хотя текст для эфира отличается от написанного текста. Много чернового материала улетает в мусорник. Микрофон – такое коварное устройство – ловит любую фальшь! Поэтому очень трудно вести передачу в прямом эфире. Бывают разные ляпы, веселье и не очень. Вот, например, диктор вышел в эфир и объявил: «Местное время – четырнадцать часов пятнадцать копеек!»

– А мне и книжку некогда раскрыть, – сказал майор, – подъем-отбой, отбой-подъем. День-ночь – сутки прочь! Вот у вас жизнь интересная!

– Да уж! Скучать не приходится! Даже в субботу!

Потом белобрысый сержант сдвинул на затылок пилотку, она каким-то чудом там держалась, поджег шнур, спустился в окоп. Они с майором спрятались в другом окопе.

Андрей включил диктофон, выставил вверх руку. Майор немного осадил ее, потянул за локоть вниз, не выше бруствера. Андрей молча подчинился. Напряжение было разлито в воздухе. Потом раздался взрыв. Андрею показалось – очень громко, с раскатистым треском разорвалось, словно толстый ствол расщепило в один миг. Он ждал взрыва, готовился, но все равно непроизвольно вздрогнул.

Майор попросил включить запись. Прослушал. Остался недоволен.

– Стыдно! Пердеж, извините, какой-то, а не взрыв! Будем считать первую попытку неудачной. Сейчас повторим. – Нахмурился, стал отдавать приказания.

Сержант и солдат, сгибаясь, принесли по его приказу из глубины леса тяжелую авиационную бомбу. Потом разбрелись в разные стороны, натаскали, как дрова, мины, снаряды. Изъявленные ржавчиной, но внешне не опасные – металлолом. Аккуратно сложили их в общую кучу.

Опять сидели в окопе. Шипел горящий шнур, ждали взрыва. Тишина была уже не такой звенящей, хотя в ее глубине по-прежнему таилась опасность.

Обильный пот увлажнил волосы, катился по лицу, спине.

– А – е... пэ-рэ-сэ-тэ! Вы же без каски, товарищ корреспондент! – вдруг явственно сказал майор.

– Так и вы – без каски!

– У меня голова деревянная! – ответил майор.

Раздался оглушительный взрыв. В ушах зазвело, очень тонко, надоедливо. Андрей понял, что задержал дыхание, ждал взрыва, а сейчас его бросило в жар, он шумно вздохнул, полной грудью, потом успокоился и слушал тишину затаившегося леса, пытаясь понять, сильно ли оглох, надолго ли это у него?

Майор сходил, полюбовался воронкой, вернулся. Принес запах пороха, свежей, развороченной земли. Попросил прослушать запись.

– Вот! Нормально! Теперь – даю добро, товарищ корреспондент! – Заулыбался.

Андрея подвезли в военный городок. Ему показалось, что майор хочет о чем-то сказать, расспросить, но отчего-то не решается. Или может быть даже уехать вместе с ним. Махнуть на все рукой и уехать! Сидеть в городском кафе, пить водку, задышаться в ее теплой сивушной волне, обмениваться короткими, внешне незначительными фразами. Емкими, с подтекстом. Эх, если бы времени больше, сделать солидный материал, действительно на полчаса, о жизни и службе этого замечательного «пахаря» – майора.

Лаконичный, мужской, уважительный разговор, внешне похожий на незатейливый треп, но с какой-то внутренней пружинкой.

Некогда! Может быть, вернуться попозже к этому материалу? Вряд ли – очень уж он событийный.

Они обменялись телефонами.

Стояли на остановке, молча курили. Звенело в ушах по-прежнему тонко и утомительно, отвлекающая, и другие звуки, мирные, со стороны трех пятиэтажек военного городка, напротив, прорывались сквозь этот звон.

Андрей коротко придремал в автобусе, на горячем сиденье. Вскинулся, бодрость почувствовал, показалось, что спал долго. Глянул на часы: минут на десять всего отключился. Это тоже с опытом появилось.

Он позвонил маме, услышал голос дочки, но вдруг расхотелось говорить. Он понял, что с ней все в порядке, но говорить сейчас не сможет. Распрощался.

Смотрел за окно.

Автобус петлял, делал неведомые Андрею остановки, кто-то входил, выходил, что-то говорили. Какие-то люди, и он среди них едет в незнакомом

городе, где не был ни разу и попал сюда по странной случайности. Какая-то диковинная смесь дальней командировки и возвращения откуда-то, чему он не может подыскать названия, или он еще только выехал в командировку? И пытается вспомнить, а что же он там должен сделать и с кем встретиться? И никак не может прорваться сквозь ступор тяжелой усталости.

Куда его только не заносили задания редакции! И ничего толком не увидел, до конца не ощутил. Тамошние красоты, достопримелькательности, интересовали лишь с точки зрения полезности, насколько они ложатся в контекст темы, задания. И как с цветка на цветок. Что же он нес с этих «цветков»? Нектар? Если бы. Искал жемчуг в навозе. Состоявшийся журналист, журналюга. Дилетант! За несколько часов надо въехать в тему, вникнуть, раскрыть, разжевать, донести просто и ясно, интересно, улыбаясь – все на продажу! И никому нет дела, голова у тебя болит или... печень! Он пыжится, старается, тиражирует, вываливает на миллионы голов, ушей, людей, находясь в центре события. Потом его подхватывает другое событие, срочные дела, об этом уже подзабыли через два-три дня. Тщеславие гонит, торопит, надо успеть, уложиться, напомнить всем о себе, словно уколоться этим допингом, потешить ненадолго тщеславие.

«Сделает ли это кого-то лучше? А уже плавно приближается сороковник, – подумал грустно и устало, – бегаю, как пацан с сачком за неуловимыми бабочками, наслаждаюсь сиюминутным эффектом, эфемерной властью над теми, кто с той стороны микрофона. Создаю мифы из пустоты эфира, чтобы они превратились очень скоро ни во что и растворились в пустоте. А потом все повторяется. Стойкая зависимость от событий в пустоте – вокруг! Информационный наркотик».

В редакции выпил крепкий кофе, понял, что проголодался, но буфет был закрыт – суббота, да и времени до эфира почти уже не оставалось. Ленка принесла на блюде четыре печенюшки. Они хрустели во рту, ранили нёбо. Потом приклеивались к деснам мягким комом, мешали говорить, отвлекали.

Прополоскал рот в туалете, глянул на себя в зеркало над раковиной, подумал: неинтеллигентная какая... харя! Глаза красные, небритый! Вот бы сейчас на экране брутально смотрелся! На фоне взрыва – взгляд прямой, микрофон крепко держит! Только видно, как пальцы крепко сжимают микрофон.

Полез в карман. Достал крупный осколок. Злой, колющий, слегка вытянутый, выгнутый, блестящий

Тщеславие гонит, торопит,
надо успеть, уложиться,
напомнить всем о себе,
словно уколоться этим
допингом, потешить
ненадолго тщеславие.

крупницами кристалликов разорванного металла. Сержант белообрый подарил.

Кинул в никелированное ведро под раковиной. Звук получился громкий, и он вздрогнул. Ощущение тепла осталось в ладони.

Вернулся в редакцию. Закурил, дым пускал в открытое окно, подумал: «Такая мелкая деталь, как и все вокруг, соединенное, сцепленное в ужасное и прекрасное, тесно спаянное и постоянное напряжение от того, что серединки-то на самом деле нет. Есть условный переход из одного состояния в другое. Между ними невидимый зазор внутри звеньев, в длинной цепи случайностей, и я пытаюсь найти в их чередовании логику, последовательность, смысл и закономерность в тайных знаках, посланных кем-то. Расшифровать, узнать что-то еще и облегчить себе жизнь и существовать дальше, опять чего-то ожидая... Так и грызу – черствое печенье своих дней. Да. Не забыть бы эту мысль!»

Эфир прошел нормально. Ленка принимала звонки, оживилась, сидела в студии, была в центре внимания «широких масс», поблескивая очками, улыбалась радостно через стекло, наушники наезжали на ямочки щек, показывала большой палец – удачный материал. Стих какой-то свой стала читать. Андрей вспомнил вдруг, что и сам про стих подумывал, да вот опять ускользнуло от него. Досаду коротко ощутил – жаль, не записал. Привык все записывать. Какая-то странная память от этого становится – записать, чтобы забыть!

Он устал и был опустошен.

Позвонил жене. Она настрогала разные салаты. Договорились, что на ужин приготовят рыбу с сухим вином. Тихо, вдвоем, по-семейному – в кои-то веки, будут «домушничать», никуда не пойдут, пока дочь у бабушки.

Андрей забежал в супермаркет. Долго выбирал вино. За ним пристально наблюдал пожилой худощавый старик. Стильный, в белой бейсболке, карминового цвета рубашке с короткими рукавами, в светлых джинсах. Пижонистый по виду дедок.

– Может быть, это? – показал старику этикетку вина «Совиньон».

– Вчера хотел пукнуть и нечаянно обоссался, – сказал вдруг старик. После этого я перестал вообще что-либо понимать. Хотя мне всего-то шестьдесят восемь лет. И служил на границе, не в штабе жопу плющил об табуретку. Когда-то очень давно – отслужил.

Он огорченно махнул рукой, ссутулился, ушел к лоткам с фруктами.

Андрей купил чилийского белого шардоне. Ходил вдоль длинного прилавка, придирчиво выбирал на свое усмотрение рыбу.

– А что вот это за зверь? Вот этот хищник.

За стеклом аквариума-витрины на дне затаилась странного вида рыба. Что-то в ней было отдаленно знакомое.

– Налим!

– Не узнал, – подивился он, рассматривал, наклонился ближе, – вот этот вот... экземпляр, будьте добры. Килограмма два будет? Вот и хорошо!

Рыба пыталась вырваться из пакета, била хвостом, отчаянно сопротивлялась. Плясали стрелки на весах, и не понять было, каков же ее вес на самом деле. Брызги разлетались в разные стороны. Андрей не заслонялся, наблюдал, как укрощают сильную рыбу, гасят ее живую энергию.

Кое-как взвесили беспокойный пакет.

– Может, оглушить? – показала из-под прилавка колотушку продавщица.

– Будьте добры. – Андрей отвернулся, наклонил голову, полез в карман за карточкой, чтобы расплатиться.

Глухой звук догнал его, удар пришелся рыбе по голове, Андрей непроизвольно отметил это боковым зрением и неожиданно подумал, как это, должно быть, больно, когда ломают череп, внутренне напрягся.

Он устал шел домой, его преследовал звук ломаемых костей, затхлый запах магазинного аквариума.

Он подумал, что вода, должно быть, теплая, как тогда, в реке, и ощутил легкий спазм тошноты. Вязкий ком внутри уплотнился. Желания поесть не было, хотя и чувствовал сосущий голод.

«К рыбе, купленной в магазине, относиться как к еде. Пойманная самим рыба вызывает другие чувства», – подумал вдруг.

Звонок майора настиг его около подъезда.

- Товарищ корреспондент? Ну что ж ты осрамил меня на всю страну! На весь военный округ, перед личным составом... товарищ корреспондент! – скрипел, как стриж, буквой «р» недовольный майор.
- В смысле?
- Теперь до дембеля будут говорить, что у меня голова деревянная! – сказал с досадой, явно недовольный.
- А... вы про это! – засмеялся Андрей и тотчас пожалел о том, что засмеялся. – А по-моему, все получилось замечательно! Вы настоящий герой, очень скромный, но герой.
- Вот про это самое... сынок! Надо было на полигоне устранить эту вредную подказку. Э-эх, старый чудака на букву «м», зарепортировался, не проконтролировал!
- Это такой прием... живинку внести в репортаж. Знаете, когда говорят дежурными фразами – скучно и неинтересно, а тут нормальные люди рассказывают другим нормальным людям нормальным языком. Все как в жизни, без шпаргалок, срежиссированных речовок.

Майор что-то говорил, вздыхал, был явно расстроен. Андрей не хотел его терять – в будущем он мог пригодиться. Поэтому откладывать примирение в долгий ящик не стоило. Усталый, он стоял у двери, тяжелый пакет оттягивал руку, хотелось домой, и надо было заканчивать затянувшийся разговор. Смотрел на кодовый замок, отмечая машинально, как он исцарапан, пакет слегка разошелся, слизь бурела сукровицей, просачивалась наружу тонкой струйкой, портила настроение.

Появилось желание отключить мобильник и пойти домой.

- С меня пол-литра, товарищ майор! – сказал вдруг. – Давайте на следующей неделе созвонимся, встретимся. И устаканим этот вопрос! Ну не гнать же в эфир опровержение после такого... боевого репортажа!

Майор опять повздыхал:

- И четыре пива – в шесть рядов!
- Наутро! – предложил Андрей.
- Черт молчаливый! Любого уговоришь, – пробурчал майор и с неохотой согласился.

Рыбина лежала на доске, пахла рекой, но тайны в ней не было. Андрей гладил ее, трогал обвисшее, мягкое брюшко, разглядывал с любопытством. Желтая, рябенькая темно-коричневыми пестринками, должно быть, маскировка, «камуфляжка» под речное дно, длинный плавник от середины, к хвосту, пони-

зу и сверху, глаза серо-синие, замутненные гибелью, крупные, как пуговицы на пальто. Хвост скругленный, узкой лопаточкой. Морда острая, стремительная, пасть хищника. Палец в пасть сунул – зубы опасные, мелкие, частые и цеплющие. Оцарапался немного.

Печень и впрямь оказалась большой, непропорциональной телу, бело-розовой и мягкой.

- Так ее разглядываешь, словно сам только что поймал, – засмеялась Алена, – рыбу твоей мечты!
- Да. Рыба-мечт. Знаешь, у нее должна быть голубая икра. Только вот ушла – рыба! Представляешь, когда-то давно, в детстве, сорвалась. Скользящая очень, в руках не смог удержать. Так и преследовала меня всю жизнь! Глаза закрою – и вот она, скользит, исчезает среди бликов, уходит... уходит на глубину.

Он попытался вспомнить свои ощущения тогда, на реке, но уже без страха, скорее, с внутренним любопытством, и сейчас вновь удивился тому, что сразу не распознал рыбу в магазине. Впрочем, и видел-то ее в детстве коротко, какие-то мгновения, да и разглядывать особенно было некогда – рыба рвалась домой, в реку.

«Как беден мой язык! А мне ведь, как и майору, книжку некогда прочитать. Лежит на тумбочке, у кровати, открою – и сразу спать. Откуда взяться новым словам? Одни и те же слова... годами», – подумал Андрей, растираясь в ванной полотенцем.

Пока принимал душ, Алена запекла налима в духовке под белым соусом, поджарила на сливочном масле печень, овощи – до легкой корочки. Приборы на столе, салфетки, ложки серебряные. Маленький праздник.

Встретила его с улыбкой. Он заметил светлую блузку, джинсы, макияж, ему стало приятно, и он тоже улыбнулся.

Андрей вернулся в ванную, снял халат и тоже переоделся в джинсы и светло-фиолетовую байковую рубашку в клеточку.

Они сидели на кухне друг напротив друга, у открытого окна. Вечер – тихий и теплый. Он наполнил фужеры до половины. Терпкий аромат белого вина разбудил аппетит. Андрей понял, что очень голоден.

Печень и впрямь оказалась вкусной, нежной. Чем-то напоминала тресковую, но свежая, речная. Молчали. Громко тикали часы на стене. Горела свеча.

Потом ели мороженое с ромом. Любимое с детства мороженое Андрея – шоколадное. И это было важно для него сейчас.

«Ром – аромат. Хорошая игра слов. Что поделяет майор? Защитник Отечества! “Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять” – шутка гвар-

дии майора. Он уже спит, должно быть. Можно ли привыкнуть к смерти – рядом, ежедневно, ожидая вызова? Другие вызовы, разные вызовы. И всегда одно и то же – приглашение на смерть! Смертельная игра. И он – один-одинешенек, в своем одиночестве. Опять – тавтология. Трудно идут сегодня слова. Не рождаются. Нет, не так – рождаются с трудом. Что-то мешает их складывать легко, ловко и правильно. Устал сегодня. Такой длинный день. День выпотрошил меня, как налима. Занятная фраза».

– Сегодня ты меня не видишь в упор, – тихо сказала Алена, потерла пальцем край фужера, – не замечаешь, а я сижу – напротив. А-у-у!

Пламя свечи прилегло, неуверенно поколебалось, почти успокоилось. Они смотрели на него заворуженно.

Послышался тонкий звук, как тогда в окопе. Возник вроде бы из ничего, зазвенел и поплыл из-под тонких пальцев Алены. Заполнил собой пространство маленькой кухни, встревожил. Растворился в заоконном полумраке и вновь возник – плавно, словно выплывал мягко из самой середины пустоты хрустального колокольчика фужера.

Прозрачный колокольчик – без «языка».

Андрей вздрогнул, отвлекся от своих мыслей.

– Ты есть, ты со мной. Поэтому я позволяю себе задуматься, – неожиданно заговорил, все более волнуясь. – Там, на полигоне, в окопе... голову поднял – бруствер, каждую травинку увидел, солнце всю, ослепило – смотреть больно. Потом взрыв, раскаты, солнце качнулось, накренилось куда-то вправо, запах свежей земли. Раскрытой земли, распаханной, как рана на теле. Дышишь полной грудью, в ней прохлада, страшное что-то скрыто, и надышаться не можешь. А ничто ведь не угрожает сейчас, я ведь спрятался в крепком окопе. Представил – смерть, несется вот она – у левого соска... воет, летит. Куда? К кому? В кого – в соседа, в тебя, солдата, ребенка? Из ствола, из миномета, самолета? Смерть летит шальная, без разбора. Вот она – перед тобой. Дура ненасытная. Неуправляемая, как автомобиль на скользкой дороге, несется жутко... на огромной скорости. И ты это понимаешь мозгом, он говорит – стой, там смерть, а ничего не можешь прямо сейчас изменить, заслониться от этого ужаса. И надо встать, пойти... в атаку. Что надо себе сказать такое, чтобы встать вот так – в полный рост, встать и бежать, бежать, навстречу собственной смерти. И – сознательно... кинуть себя вперед! Заставить свое тело, деревянное, непослушное от страха – гнать, и снова

бежать, бежать... себя заставить – бежать, может быть, в последний раз, перебирать не своими ногами... задыхаться от бега. И так – хочется жить! А нашей Катке всего шесть лет.

Закончил неожиданно, очень тихо.

Алена молчала, смотрела широко раскрытыми глазами.

– Был ли страх? Испуг за себя? Аффект после взрыва? Что-то другое. Понимаешь? Секундное замешательство, паника. Потом – шок от этой простой мысли. Потрясение догнало меня вместе с взрывной волной. С запозданием. Опрокинуло.

– Момент истины...

– Момент истины. Да. Ужас. Так просто и страшно. – Он взял руку жены, поцеловал, подержал в своей руке, потерял щетиной.

Алена вздрогнула, осторожно провела свободной рукой по второй щеке:

– Мальчик ты мой, усталый.

Они вместе посмотрели в окно. Молодые березовые листочки в роще белели зеленым, молодым сиянием, этот свет шел в дом вместе с ночной свежестью, нес короткое успокоение.



| Юность № 5
| Май 2020

| Тема номера:
| Наша победа

ТАВРИДА

ТОТ, ЧЬЕГО ИМЕНИ НИКТО НЕ ЗНАЛ



МАРИЯ ШУШПАНОВА

Жил на свете Тот, чьего имени никто не знал. Он не был совсем безымянным: он прожил тысячу жизней, повидал тысячу мест и назывался тысячью разных имен, но все они были ненастоящие. Все потому, что давным-давно люди договорились о том, что не будут произносить его истинного имени вслух, и оно потерялось, растворилось во времени, как кусочек рафинада в наполненном чаем стакане. Да и сам он не знал, где искать свое имя: сперва он просто отвык на него отзываться, а затем дошло до того, что он насовсем забыл, как его зовут. С тех пор Тот, чьего имени никто не знал, стал недолюбливать людей: вдруг они спрячут и позабудут его самого? Тем более что чем дольше он путешествовал по нашему миру, тем сильнее уверялся в хрупкости человеческой памяти.

Однажды он родился диким зверем в лесу на острове, со всех сторон опоясанном Большой водой. Первые недели он ничего не слышал и не видел, но все равно чувствовал, что происходит вокруг: изучал запах хвойных веточек, нечаянно заглядывающих в его берлогу, радовался материнскому теплу и боязливо вздрагивал каждый раз, когда его, еще не обросшего шерстью, щипал за уши холодный февральский ветер. Целыми днями он дремал и думал о том, как здорово было бы, если б весна наступила чуть-чуть пораньше. Однако звери, в отличие от людей, умеют ждать,

особенно когда речь заходит о вещах, которые мы не можем ни ускорить, ни замедлить, поэтому Тот, чьего имени никто не знал, всегда отгонял такие мысли своей маленькой, пока неокрепшей лапкой и крепко-крепко засыпал.

А потом пришли люди. В день, когда они обнаружили его укутанную снегом берлогу, липкий аромат еловых иголок перебил резкий запах крови, а шкура его матери стала краснее, чем закатное солнце в безоблачный день. Люди увели его из леса и дали постель в чьем-то большом доме, а кормилицей ему стала человеческая женщина.

Целый год он прожил так, что ему позавидовали бы многие люди, но так, что над ним посмеялись бы многие звери. Вместо того чтобы резвиться и баловаться у подножий волшебных-зеленых сопков, он бродил по маленькому огороду или вообще сидел в тесной клетке из тонких бревен. Вместо того чтобы учиться ловить рыбу и искать ягоды, он принимал подношения от деревенских. Жизнь у него была сытая, но безрадостная, и в то же время он с нежностью думал о женщине, заменившей ему мать, и о девочках и мальчиках, ставших его братьями и сестрами, и они тоже очень его любили.

Прошло еще какое-то время, и его наконец-то вывели из дома и повели на самое главное место в деревне. Он сразу понял, что к ним пришел праздник, а какой – не знал. Все вокруг сливалось

Целыми днями он дремал и думал о том, как здорово было бы, если б весна наступила чуть-чуть пораньше. Однако звери, в отличие от людей, умеют ждать, особенно когда речь заходит о вещах, которые мы не можем ни ускорить, ни замедлить...

в большой разноцветный хоровод: красные циновки, усыпанные причудливыми узорами кимоно, старые сервизы. Из-за повисшего в воздухе кислого запаха саке стало труднее дышать.

Люди ликовали. Наверное, они были очень счастливы. Того, чьего имени никто не знал, привязали к столбу, и каждый житель деревни подбегал к нему и, улыбаясь и протирая влажные глаза, на языке без азбуки и цифр шептал ему послания почившим предкам. «Если я сумею встретиться с вашей бабушкой перед следующим перерождением, то я, конечно, передам ей ваши слова, – думал он, – но это очень маловероятно». Люди из этого селения верили, что внутри этого связанного детеныша не какой-нибудь Тот, чьего имени никто не знал, а спустившееся в гости божество, которому теперь надо помочь вернуться домой – отправить его дух на небеса. И поэтому когда все жители попрощались со зверем, его окружили самые сильные местные мужчины и расстреляли его из луков.

Он не страшился смерти. Он даже почти не чувствовал нанесенных ему ран. Куда болезненнее для него было то, что все вокруг радовались его смерти, даже его названная мать. «Так будет лучше для него», – наверное, так она и думала. В этой жизни Тот, чьего имени никто не знал, понял, что люди, убежденные в истинности своих выдумок (а это действительно были просто выдумки; он знал

это, потому что прожил тысячу жизней и много что повидал), готовы ради них погубить даже тех, кого растили как родных детей.

Перед тем как начать новую жизнь, Тот, чьего имени никто не знал, горько-горько заплакал, но люди приняли его рыдания за животный рык.

В другой раз Тот, чьего имени никто не знал, родился в теле мягкой игрушки – совсем небольшой, размером с коробку из-под чайника. У него были очень черные и очень грустные бусинки-глаза и холодный кожаный нос. Он и еще несколько плюшевых зверят были лучшими друзьями одного шестилетнего мальчика Бори: отец дарил ему по игрушке на каждый день рождения, и Тот, чьего имени никто не знал, был самым первым и самым старшим.

Их веселая компания была неразлучна. Вместе они исследовали огромный, полный тайн и загадок мир, в который в фантазиях ребенка превращался их дом и ближайший парк. Мальчик всегда играл роль командира экспедиции, а его верные друзья – его ближайших подчиненных. Тот, чьего имени никто не знал, например, отвечал за картографирование.

Как-то раз, когда в блестяще-зеленую листву деревьев потихоньку начинали прокрадываться золотистые листочки, а Боре вот-вот должно было исполниться семь, они отправились в очередное путешествие по зачарованным местам. Правда, только вдвоем – мальчик и наш герой. Дело в том, что Боре нужно было сообщить друзьям кое-что очень важное, но не решался сказать это «кое-что» всем сразу. А Тому, чьего имени никто не знал, он доверял больше всех и знал, что тот обязательно передаст другим. Он же картограф. Это же входит в его служебные полномочия, да?

– Ты знаешь, друг, – начал вдруг Боря, когда они поднялись на самую высокую горную вершину континента (холм возле прудика с мутной водой), – с первого числа я иду в школу.
– В школу? Это какая-то новая экспедиция? – переспросил Тот, чьего имени никто не знал, притворившись, что задумался.

Он, несомненно, знал, что такое школа, потому что прожил тысячу жизней и видел тысячу школ (ну, может, меньше, но ненамного).

– Наверное, так тоже можно сказать. Только эта экспедиция для меня одного. – Поковыряв носком ботинка влажную землю, он продолжил: – В школу нельзя брать с собой плюшевых зверей, даже если они очень умные. Так мне папа сказал.

Его собеседник мог лишь тяжело вздохнуть. Он знал, что рано или поздно это произойдет, но ему все равно было обидно.

Перед тем как покинуть тело одинокой мягкой игрушки, он долго-долго смотрел на парк, в котором он когда-то был так счастлив со своими друзьями. Капли дождя, на секунду замирающие на его круглых глазах, выглядели как слезы.

– Но ты же будешь навещать нас после занятий? – наконец спросил он у мальчика голосом, чуть подрагивающим от волнения.

Тот молча кивнул.

– Ну вот и славно!

Первое время Боре не составляло труда сдерживать свое слово. Он с большой радостью возвращался к любимым игрушкам после просиженных в душных классах часов, и они снова и снова отправлялись навстречу приключениям Бориного волшебного мира. Однако шли годы, и мальчик все больше заботился об отличных оценках и футбольных соревнованиях и все меньше о своих старых друзьях и заходил к ним повидаться, казалось, чисто из вежливости.

– Как твои дела? – обычно спрашивал он у Того, чьего имени никто не знал, и чесал у него за круглым, как баранка, ушком.

И только он придумывал, что ответить Боре, тот уже завязывал шнурки и выбегал во двор.

Очень скоро игрушек потеснили на полках толстые книги со странными, будто инопланетными, буквами и значками, и Боря совсем перестал общаться с бывшими членами его экспедиций, даже не переживал, когда забывал с ними здороваться. А когда ему исполнилось восемнадцать лет, он и во все уехал из родительского дома. Даже не попрощавшись.

А Тот, чьего имени никто не знал, не отчаивался и ждал его на крылечке. Июльское солнце и октябрьские дожди не щадили его нежную, как шелк,

шерстку и синтепоновые лапки, и вскоре он совсем одряхлел. Но Боря все не возвращался. «Он ушел навсегда», – думал про себя наш герой, и это самое «навсегда» звенело в его голове, как молот по раскаленному железу. В этой жизни Тот, чьего имени никто не знал, осознал, насколько переменчивы и недолговечны человеческие чувства.

Перед тем как покинуть тело одинокой мягкой игрушки, он долго-долго смотрел на парк, в котором он когда-то был так счастлив со своими друзьями. Капли дождя, на секунду замирающие на его круглых глазах, выглядели как слезы. А как-то раз Тот, чьего имени никто не знал, очнулся человеком. Меньше всего он желал себе такой жизни. К тому же это было тело взрослого; это могло означать только то, что до него здесь уже побывала чья-то душа.

Когда он открыл глаза, он не увидел ничего, кроме белого света, как будто он был на дне Молочной речки. Монотонный писк действовал на нервы. Не прошло и нескольких минут, как вокруг него слетелись люди в столь же ослепительно белых, как все вокруг, одеждах. Он понял, что это были врачи.

– Артур Михайлович! – охнул один из них. – Мы думали, что уже потеряли вас.

«Судя по всему, Артура Михайловича вы действительно потеряли. Что ж, теперь я займу его место», – думал он про себя, медленно всасывая воздух: новое тело его пока было слишком слабым.

От сплетников-медбратьев и медсестер он понемногу узнавал о прежнем хозяине своего нового тела: Артур был рядовым служащим не очень крупной компании, жил один в двухкомнатной квартире, доставшейся по наследству от родителей, и ни с кем не имел близких дружеских связей. Судьба этого в общем-то ничем не примечательного человека была понятна Тому, чьего имени никто не знал, и он не смог придумать ни одной весомой причины, почему высшим силам захотелось, чтобы она пришла к своему логическому завершению позже, чем на двадцать седьмом году жизни. «Может, это как раз таки потому, что он не талантлив? Все же до тридцати чаще умирают писатели и музыканты, чем простые белые воротнички», – размышлял он, пожимая плечами. Ему предстояло прожить долгую, но заурядную жизнь.

Месяц спустя он выписался из больницы, и хотя его рабочее место заняла другая, не менее заурядная личность, его все еще ждала его двושка где-то между центром и окраиной города. Все в его жилище напоминало берлогу: тесные комнатки, плотные шторы на немногочисленных окнах и огромные запасы меда и законсервированных ягод. Приняв

ванну и разобрав больничные вещи, он повалился на продавленный, с бурными отметинами диван и уснул – так сильно он устал, хотя он не до конца осознавал, от чего больше: от монотонных дней, проведенных в стерильно белой палате, или от тысячи прожитых жизней, истерших в кровь его безымянную душу.

Сон его был беспокойным: его мучил кошмар пережитых за долгие годы судеб. Ему снилось, как холодело его сердце, когда его, зверя, подстрелили подкараулившие его таежные охотники; снилось, как он был проклят и как загрыз собственную невесту, когда из человека превратился в чудовище после их первого поцелуя; снилось, как он был деревянным идиолом, которого чужеземцы отняли у коренного народа и сожгли во имя своего, другого бога. Воспоминания – черные, как нефть, липкие, зловонные, – стекались вокруг него и застыли непробиваемой стеной. Он был закрыт от человеческого мира, и если это не делало его счастливым, то хотя бы успокаивало его.

Тот, чьего имени никто не знал, решил закрыться от мира не только во сне, но и в реальности. «Целыми днями я буду спать, позабуду солнечный свет. И когда-нибудь я наконец умру и покину это слабое, хрупкое, бесполезное тело», – бормотал он, посильнее укутываясь в советское шерстяное одеяло с клетчатым узором.

Так он и жил, просыпая жизнь в своей душевной квартире с зашторенными окнами, и тело Артура Михайловича, которое он так не любил, ослабело еще сильнее. Питался он нечасто, пользуясь своими закатанными в трехлитровки запасами, и солоноватый вкус консервированных огурцов и сладость цветочного меда вскоре начали вызывать у него отвращение; из дома он никуда не выходил, даже на лестничную площадку.

Однажды, когда он уже совсем обессилел от того образа жизни, который он себе предписал, ему приснился сон – не такой, как тысячи предыдущих. В этот раз он плыл – нет, летел – на настоящем небесном корабле. Распростертое перед его глазами небо своим простором и своей прохладой действительно было похоже на океан, только вот барашки облака были гораздо тучнее и шерстистее барашков из пены. Наш герой подошел к штурвалу и осторожно повернул судно направо.

В той стороне небесная синева стала еще ярче, а воздух – чище. Сбрасывая с себя белую дымку, Тому, чьего имени никто не знал, открывались редкие воспоминания о людях, которые приносили ему радость: о молодом монахе, который не боялся его

звериного обличья и кормил его хлебом каждый раз, когда тот к нему приходил; об одном канадском лейтенанте, с которым они играли в редкие мирные минуты Первой мировой войны; о мальчике, который пожалел своего плюшевого друга детства и не сделал из него боксерскую грушу, а потом и вовсе передал его своим детям и внукам. Нервно сжимая золотое рулевое колесо парящего судна, Тот, чьего имени никто не знал, мечтал о том, чтобы его следующая жизнь была такой же счастливой, как и эти.

«А может, мне случится заявиться в человеческое тело в самом начале его пути? Впрочем, это так смешно...»

В этой жизни Тот, чьего имени никто не знал, уже больше не просыпался.

Ижевск – Москва



ЛИЦОМ К ЛИЦУ

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИОСИФА БРОДСКОГО

ЮРИЙ ЛЕПСКИЙ: «ОТНОШЕНИЯ БРОДСКОГО С ЯЗЫКОМ
ВСЕГДА БЫЛИ МЕТАФИЗИЧЕСКИМИ»



ЮРИЙ ЛЕПСКИЙ,
ТАТЬЯНА СОЛОВЬЕВА
Юрий Лепский окончил
факультет журналистики
Уральского государствен-
ного университета. Первый
заместитель главного редак-
тора «Российской газеты».
Автор книг «В поисках
Бродского», «Сохранить
нам...» и «Бродский только

что ушел». Лауреат премии
Правительства РФ и облада-
тель диплома «Золотое перо
России».

Татьяна Соловьева — автор
ряда публикаций в толстых
литературных журналах
о современной российской
и зарубежной прозе.

В этом году Бродскому восемьдесят. Он родился в Ленинграде в 1940-м. Бродскому теперь навсегда пятьдесят пять. Из-за внезапной остановки сердца в нью-йоркской квартире в январе 1996-го «нежилец этих мест» отправился в другие места, возврата из которых нет: снова, как уже случалось при его жизни. «Слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся». Незадолго до восьмидесятилетия со дня рождения Иосифа Бродского в издательстве «Искусство XXI век» вышла книга Юрия Лепского «Бродский только что ушел». Ее составили беседы с людьми, в разные годы знавшими поэта: его друзьями, родственниками, знакомыми. Эта книга делает очень важное дело — она ненадолго снимает для нас Бродского с олимпа и показывает его живым человеком. И ключевое слово здесь — «живым». Поэт здесь не менее живой, чем в знаменитом цикле «Прогулки с Бродским». И сама книга, и оформление ее переплета оставляют ощущение, что Иосиф Александрович только что вышел — ненадолго, — но в любой момент может вернуться к каждому из нас. О «хождении по следам Бродского» и работе над книгой мы поговорили с ее автором.

— Юрий Михайлович, почему книга называется так?

— Ощущение, что Бродский только-только вышел, однажды возникло во мне и поселилось навсегда. Я понял, что мы ходили с ним по одним и тем же улицам в Ленинграде и теоретически вполне могли встретиться. Мы могли бы быть знакомы, потому что наши круги знакомств отчасти пересекались. Но этого не случилось, и это было очень обидно... Этот внутренний дискомфорт привел к тому, что я начал бегать по неостывшим следам Бродского, пытаюсь ухватить хвост той кометы, что улетает все дальше и дальше.

А еще он «только что ушел» потому, что, несмотря на прошедшие со дня его смерти 24 года, его имя постоянно на слуху, его книги разлетаются, их читают. Недавно я в Казанском университете беседовал со студентами. Их было около ста человек, и я спросил, кто из них читает Бродского. Оказалось, что



чуть менее половины. Это очень много. Особенно учитывая, что Бродский – очень сложный поэт. И эссеистика его тоже непростая. Что-то приходится перечитывать, чтобы понять. Когдаходишь в книгу Иосифа Александровича, возникает ощущение, что потолок очень высоко, как в католическом соборе эпохи готики или раннего Возрождения типа Санти-Джованни-э-Паоло в Венеции, в то время как во многую современную литературуходишь как в землянку, согнувшись в три погибели. Читая Бродского, можно смотреть вверх, им можно дышать, к нему можно стремиться – и постоянно возвращаться. И поэтому всякому поколению его читателей будет казаться, что он только что был здесь.

– Книга в значительной степени составлена из бесед с людьми, которые знали Бродского, были близки с ним на разных жизненных этапах. Каждый из этих этапов в книге обозначен городом (в одном случае – деревней): Санкт-Петербургом (Ленинградом), Венецией, Лондоном, Римом, Нью-Йорком, Норинской, Стокгольмом. В прекрасном телевизионном цикле «Прогулки с Бродским» поэт сам говорил о себе и своих любимых местах. В этой книге о нем вспоминают и рассказывают множество других людей. Это собрание подлинных свидетельств. Что эта объемность взгляда на героя дает читателю? Помогает ли она лучше понять его? Все эти люди говорят о Бродском, но говоря о нем, не раскрываются ли они больше сами через его образ?

– Мне очень повезло с моими собеседниками. По Венеции Бродского меня водил Петр Вайль, по Нью-Йорку – Александр Генис, по Лондону – лучший на сегодняшний день исследователь творчества Бродского Валентина Полухина, по Стокгольму – Бенгт Янгфельдт, по Санкт-Петербургу – выдающийся знаток топографии города Вячеслав Недошивин, по Риму – Алексей Букалов, проживший тут четверть века, знавший Бродского и его любимые местечки и вечном городе. Это замечательные люди, которым я очень благодарен. У каждого из них, конечно, был свой Бродский, и мне предстояло сложить из всех этих исто-

рий общий целостный пазл. Один мог говорить что-то, прямо противоположное тому, что говорил другой. Но это было самое ценное. Люди, знакомые с Иосифом Александровичем по разным поводам, по разным поводам и высказывались. Но объединяет их одно: что бы они ни рассказывали, речь в конечном счете шла об их месте в той культуре, которую нам завещало ушедшее поколение. У Бродского была замечательная фраза о том, что писатель (или поэт, как в данном случае) должен искать успеха не у современников, а у предшественников. И эта мысль проходила через все разговоры с разными людьми, и все они говорили о том, что знакомство с Иосифом Александровичем помогло им понять собственное место в той культуре, которую они наследовали. Они и меня заставили задуматься о том, каково мое место в профессии, которую я выбрал.

Работа над этой книгой многое поменяла в моей жизни – начиная с привычек и заканчивая знакомствами и новыми друзьями.

– При работе над книгой о людях такого масштаба очень трудно остановиться, поставить точку. Всегда есть соблазн воссоздать целую вселенную. Бескрайнее поле материала, особенно в этом случае – когда в вашем распоряжении не только книги, но и живые собеседники, каждый из которых – сам по себе вселенная. Как быть?

– Когда я оказываюсь на Сан-Микеле, острове мертвых, где, как известно, находится могила Бродского, я подхожу и мысленно прошу у него прощения, поскольку понаписал и наговорил про него очень много и вполне допускаю, что не все могло Иосифу Александровичу понравиться. И я пытаюсь его язычески задобрить: кладу на надгробье маленького котенка или еще что-то, прошу прощения, внутренне объясняя, что ничего плохого сказать не хотел. И пока мне все как-то сходило с рук. Однажды ко мне там явился огромный кот, который пытался установить со мной контакт: для венецианских котов случай уникальный, обычно они очень пренебрежительно относятся к людям. А если он хотел этого контакта, это свидетельствует о том, что кто-то это был. Но кто?

Валентина Полухина так и не смогла закончить писать об Иосифе Александровиче. Она ставила точку в очередной книге, потом проходило некоторое время – и она начинала новую, каждый раз, как утверждала, «последнюю». Я ее очень хорошо понимаю. С одной стороны, возникает ощущение, что все существенное, что могло быть сказано, уже сказано. Но мне кажется, надо еще пожить чуть-чуть, чтобы понять что-то новое в написанном им.

– Важный человек в судьбе и творческой биографии Бродского – Марина Басманова. Что за тайна окутывает эту женщину? Почему о ней так мало известно и почти нет ее фотографий, кроме самой известной – с Анатолием Найманом?

– Марина Павловна Басманова сыграла в жизни Иосифа Бродского поразительную роль. В мировой поэзии не существует такого количества посвящений, какого удостоилась Марина Павловна. Она абсолютно закрытый человек. Сколько раз мы с Вячеславом Михайловичем Недошивиным стучали и звонили в ее дверь, сколько раз набирали ее телефонный номер – ничего не удавалось. Она не идет на контакт с кем бы то ни было. Изредка общается с друзьями Бродского, но даже их попытки вывести ее в публичное пространство ничем не завершились. Я знаю, что ей предлагали немалые деньги за интервью на федеральных каналах. Она отказалась. Не потому, что деньги ей не нужны – живет она весьма скромно, – а потому, что это продуманный, укоренившийся в ней самый стиль поведения. Она считает, что все, что она знает о Бродском и чувствует по этому поводу, должно уйти вместе с ней и никому больше не принадлежать. Конечно, это вызывает уважение, но есть часть во мне, которая против этого протестует: почему мы знаем о Беатриче больше, чем о Басма-

Однажды ко мне там явился огромный кот, который пытался установить со мной контакт: для венецианских котов случай уникальный, обычно они очень пренебрежительно относятся к людям. А если он хотел этого контакта, это свидетельствует о том, что кто-то это был. Но кто?

новой? Ведь Басманова – наш современник, она живет с нами. Я знаю людей, которые с ней встречались. Они рассказывают, что ничего не изменилось: она по-прежнему носит с собой маленький блокнотик («Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к финикам, / рисовала тушью в блокноте, немножко пела»), рисует во время бесед и оставляет свои рисунки на память этим людям. Мне однажды удалось поговорить с ней по телефону*. В этой книге были пять фотографий Марины Басмановой, которые никто никогда не видел. Кроме Бродского, потому что он их автор: он сделал их во время ссылки в Норинской. Но нам не удалось получить разрешение на их публикацию, поэтому корректней – по отношению и к Басмановой, и к Бродскому, и к издательству – было отложить их публикацию.

– После ухода человека уровня Бродского неизбежно возникает ревность, споры о том, кто был большим другом поэту, и тому подобное. Насколько эта ревность чувствовалась в ваших беседах?

– В разговорах как таковых я этого не почувствовал, хотя какие-то заочные дискуссии были. О той же Басмановой, например. Есть такой друг Бродского голландский славист Кейс Верхейл, написавший о нем замечательную книгу. Он был доверенным лицом Иосифа Александровича, ездил в Ленинград к его родителям, привозил письма. Вез он письма и Марине Басмановой, и ему – ее ответы. Верхейл полагал, в отличие от всех людей, с которыми я разговаривал по поводу Бродского, что эта любовь никуда не исчезла с годами и даже брак не смог ей помешать. Он говорил о том, что знаменитая публикация «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером», которая считается критиками как

* Вот как этот эпизод описан в книге:

«– Алло.

– Это Марина Павловна?

– Да.

– Вас беспокоит незнакомый вам человек. Я работаю в «Российской газете». У меня на столе лежит материал, посвященный вам. Я хочу попросить вас прочитать его перед тем, как он будет опубликован...

– Я не стану ничего читать.

– Вам безразлично, что о вас напишут?

– Мне это неинтересно.

– Мне кажется, что этот материал сделан корректно и с уважением к вам.

– Ну и хорошо.

<...> Я сидел за столом с телефонной трубкой в руке абсолютно потрясенный. Конечно, не содержанием этого довольно бессмысленного разговора. Голос! Это единственное, что не меняется в человеке с возрастом. Сам Бродский когда-то заметил по поводу ее голоса, что связки не испытывают трения и оттого не изнашиваются с годами».

прощание с Басмановой (и считается, конечно, весьма неслучайно. – Т.С.)*, прощанием не является, потому что Иосиф Александрович до конца жизни испытывал к Марине Басмановой какие-то чувства, и поздние стихи этими чувствами были мотивированы.

– *Тот же Кейс Верхейл говорит о том, что в Бродском удивительным образом сочеталось, с одной стороны, постоянное сомнение в собственном уровне образования, поскольку он был самоучкой, сознательно бросившим школу после седьмого класса, и, с другой, – желание доминировать над Верхейлом в его работе над диссертацией об Ахматовой. Как в нем это соседствовало?*

– Это правда, и это отмечалось многими людьми: человек, ушедший из восьмого класса средней школы, был при этом блистательно образован. И случай Бродского редкий, но не единичный. Он реабилитирует людей, которые не окончили престижных вузов, а иногда и средней школы, но стали значительными фигурами в своих областях. В журналистике можно вспомнить Василия Михайловича Пескова. Десять классов школы за его плечами, но это был крупнейший специалист. А Бродский, конечно, испытывал комплекс из-за того, что страна была закрытая. В одном из первых своих интервью после эмиграции он сказал, что для него стало огромным открытием, когда он понял, что на английском языке можно написать глупость. Верхейл говорил, что Бродский был прекрасно образованным человеком с какими-то чудовищными провалами. Но со временем эти провалы все более нивелировались, и уровень образованности этого человека был просто блистателен.

А Петр Вайль рассказывал, как однажды Бродского пригласила на день рождения едва знакомая девушка, и он пришел. И выглядело это так: Бродский стоял один, освещенный каким-то верхним светильником, изучая картинки на стенах, а вся остальная компания стояла поодаль вокруг и шепотом разговаривала. В конце концов Вайль не выдержал и подошел к Иосифу Александровичу. «Ну и о чем вы с ним заговорили?» – спросил я. – «Как – о чем? Об античной поэзии!»» Когда Бродский появлялся в компании, чувствовалось, что произошло нечто значительное.

– *А насколько хорошо Бродский владел английским?*

– На мой взгляд, история знает три примера, когда человек превосходно писал на неродном для себя языке. Это Набоков, Бродский и Джозеф Конрад. Бродский был влюблен в английский язык. У него был роман с ним. Правда, стихи, написанные им на английском, вызывали волны возмущения. Прежде всего потому, что он пытался писать в рифму, что англосаксонская поэзия не делает уже почти двести лет и считает моветоном. А он настаивал на этом.

В блистательном эссе «Полторы комнаты» он писал о своих родителях – и объяснил, почему английский язык был так ему дорог и важен: «Я пишу о них по-английски, ибо хочу даровать им резерв свободы; резерв, растущий вместе с числом тех, кто пожелает прочесть это. Я хочу, чтобы Мария Вольперт и Александр Бродский обрели реальность в “иноземном кодексе совести”, хочу, чтобы глаголы движения английского языка повторили их жесты. Это не воскресит их, но по крайней мере английская грамматика в состоянии послужить лучшим запасным выходом из печных труб государственного крематория, нежели русская. Писать о них по-русски значило бы только содействовать их неволе, их унижению, кончающимся физическим развоплощением. Понимаю, что не следует отождествлять государство с языком, но двое стариков, скитаюсь

* «Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил, но забыть одну жизнь – человеку нужна, как минимум, еще одна жизнь. И я эту долю прожил».

по многочисленным государственным канцеляриям и министерствам в надежде добиться разрешения выбраться за границу, чтобы перед смертью повидать своего единственного сына, неизменно именно по-русски слышали в ответ двенадцать лет кряду, что государство считает такую поездку “нецелесообразной”. Повторение этой формулы по меньшей мере обнаруживает некоторую фамиллярность обращения государства с русским языком. А кроме того, даже напиши я это по-русски, слова эти не увидели бы света дня под русским небом. <...> Пусть английский язык приютит моих мертвецов. По-русски я готов читать, писать стихи или письма. Однако Марии Вольперт и Александру Бродскому английский сулит лучший вид загробной жизни, возможно, единственно существующий, не считая заключенного во мне самом. Что же до меня самого, то писать на этом языке — как мыть ту посуду: полезно для здоровья». Я убежден, и Валентина Полухина осторожно поддерживает эту точку зрения, что Нобелевская премия была присуждена Бродскому именно за эссе, а не за стихотворения, лучшие из которых были написаны по-русски и не могли быть оценены Нобелевским комитетом должным образом.

А отношения Иосифа Александровича Бродского с языком всегда были достаточно метафизическими, и это нужно иметь в виду.

Беседовала Татьяна Соловьева



| Юность № 5
| Май 2020

| Тема номера:
| Наша победа

ЗОИЛ

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЭТА

В. Г. КУПРИЯНОВ.

«ПРОТИВОРЕЧИЯ: ОПЫТЫ СОЕДИНЕНИЯ СЛОВ ПОСРЕДСТВОМ СМЫСЛА»
(ПРЕДИСЛ. А. СКВОРЦОВА, «Б.С.Г.-ПРЕСС», 2019)



ДАРЬЯ ЛЕБЕДЕВА

Родилась в Москве в 1980 году. Окончила исторический факультет МГПУ, Литературный институт имени А. М. Горького. Шорт-лист Волошинского литературного конкурса (2011, 2014), лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Малая проза» (2013), лонг-лист Международной

детской литературной премии имени В. Крапивина (2019). Вышли две книги стихов: «Нетленки и Ерун-Дашки» (2013, в соавторстве с Еленой Борон), «Девять недель до мая» (2017). Член Союза писателей Москвы.

Собрание стихотворений Вячеслава Нуприянова «Противоречия» — почти шестисотстраничный том, выпущенный к восьмидесятилетию автора и составленный им лично как результат многолетнего поэтического путешествия. Хотя Нуприянов пишет и традиционные, конвенциональные стихи, в эту книгу не вошло ни одного, здесь только верлибры. Об этом и заголовок: «Опыты соединения слов посредством смысла». У верлибра есть только этот единственный способ превратить череду слов в поэзию, не прибегая ни к унаживающему ритму, ни к отвлекающему жонглированию звучными рифмами. Именно об этом сказал Юрий Орлицкий на презентации книги в ЦДЛ, назвав верлибры Вячеслава Нуприянова «обнаженной сутью стихотворной речи, поэзией точных, верных и единственных слов».

Чтение непростое — не столько из-за внушительного объема, сколько из-за смысловой насыщенности стихотворений, каждое из которых заставляет работать мозг, сердце, воображение, совесть. Каждый текст этого сборника, короткий или пространный, — концентрат правды, неразбавленная сыворотка смысла. Стихи сгруппированы по определенным темам, или, скорее, как сказали бы сегодня, по тегам, ключевым словам: «Время любить», «Даль детства», «Чудеса истории», «Дикий Запад» — и, объединенные таким образом, производят кумулятивный эффект, усиливая впечатление и послевкусие. Каждый раздел обретает собственное звучание: нежное и доброе, если речь о любви и детстве, чистое и светлое — о природе, отстраненное и холодное, если о космосе и звездах, злое ироничное — о королях, чиновниках, интриганах. И благодаря этой насыщенности, даже пресыщенности, вдруг ясно осознаешь, что автор этих стихов на самом деле не просто пишет тексты, чтобы что-то сообщить, передать, рассказать, — из отдельных стихотворений, словно из кирпичиков, он создает собственный поэтический мир,

Слово – то нутряное, природное, дикое,
что еще осталось в цивилизованном
человеке. Речь, язык – корнями
уходят в природу. И если для кого-то
природа – фон, а речь – инструмент,
для Куприянова они самоценны.

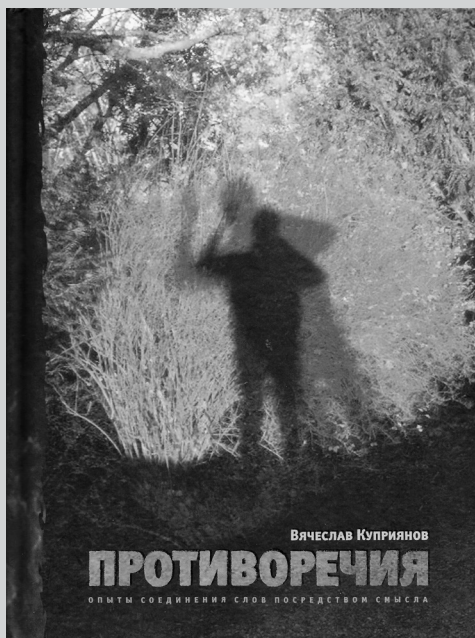
противопоставленный миру реальному, и даже противоположный ему.
Мир, сложенный из слов. Сложение слов в сумме дает безграничную
живую вселенную.

*Вот бесконечный смысл незаметной работы:
стол
начинает шелестеть листвою
перо
снова вырастает в крыло птицы
дерево
за любым окном
птица
высоко в небе
вечное благовещение жизни
слово
становящееся плотью*

В центре каждого высказывания — обретающее плотность и плоть
слово, которое поэт начинает медленно поворачивать, пристально
разглядывая каждый звук то ли под лупой, то ли под волшебным фонарем,
открывая новые грани, странности и нелепости, пока слово не потеряет
изначальный смысл и не приобретет новый:

*Миллионы лет нас учат,
что худа нет без добра
и нет добра без худа.
И хорошо бы так
себе добра наживать,
чтобы другим хуже не стало,
чтобы добро не походило
на раздобревшее худо.*

Слово — то нутряное, природное, диное, что еще осталось в цивилизованном человеке. Речь, язык — корнями уходят в природу. И если для кого-то природа — фон, а речь — инструмент, для Куприянова они самоценны. Даже назначение человека, по Куприянову выходит, «*держат слово*», потому что материальное, мирское рано или поздно рассыплется и исчезнет, и лишь слово, память, искусство, несмотря на кажущуюся эфемерность, надежны и устойчивы. Только они имеют смысл, только в них можно отыскать опору, настоящую жизнь: «*На картах мира / время стирает границы / священных империй. / Непреходящи / черты Ада и Рая, / увиденные на земле / ветхим Данте*».



Лирический герой скрупулезностью напоминает дельца из «Маленького принца», тщательно пересчитывавшего звезды: он так же серьезен и любит точность. Только, в отличие от героя Сент-Энзюпери, делец Нуприянова бескорыстен. Его цель — овладеть, выразив в слове, не только звездами, но всеми объектами, явлениями, всеми незаметными людьми, которые продолжают смотреть на небо, мечтать и искать. Пересчитать всех непризнанных поэтов, которые, возможно, не написали в жизни ни строчки, но остаются поэтами по сути. Поэт — тот, кто смотрит вглубь, вдаль, парит над действительностью, как птица. Он смотрит на все словно издалека и опасается приближаться: нет, не из чувства безопасности, а чтобы не погрязнуть в мелочах, не завязнуть в тщете материального, наносного, ненужного, неважного. Он готов насмехаться над политикой, амбициями, глупостью, крайностями, но не готов придавать этому то огромное значение, которое придает обыватель. Поэт одним своим взглядом воскрешает мир. Поэт уподоблен птице, у него есть перо, невесомость, вид с высоты, слово и молчание: *«Птицы говорят на языке приютивших их деревьев / на языке гор приблизивших их к небу / на языке волн в которых им дано отразиться / но молчат они на языке неба»*.

В этом сборнике есть некая моральная целостность, четко заданный нравственный вектор. Нуприянов требует от читателя, чтобы он думал и жил осознанно: *«кто думает иначе / спасибо на том / что тоже думает»*. Но подчеркивает, что это уязвимая позиция: *«Единственное что облегчает борьбу с мыслью / это ее дислокация в голове человека / единственно чем человек может защищаться / это скрывать / или не иметь своих мыслей»*.

Впрочем, единственно приемлемая: обретая социально значимые блага, человек беднеет, а не обогащается, застывая в сытости и бездумье,

Он сталкивает внутри текста
несовместимые на первый взгляд
объекты, находит ускользающие,
неочевидные связи, создает хаос,
в котором заново обнаруживает
порядок.

предает себя: *«лишь отсутствие воображения / возвращает тебе / желанный покой»; «Государственные умы / вычисляют / Какой минимум духовной пищи / Положен мне уже с раннего детства / Чтобы не испытывать духовной жажды / И воспитывать в себе с раннего детства / Прожиточный минимум совести».* Подчиняясь обществу, его стереотипам, отказываешься от крыльев, тем более что *«Крылья ангела достигали в размахе / два метра девяносто восемь сантиметров, / при весе семьдесят два килограмма / летать на таких крыльях, / с точки зрения аэродинамики, невозможно».* Выходит, что достать до неба, потратив жизнь на поиск дыхания вселенной, — недостижимая цель, поэтому настоящий поэт всегда жертвует собой, отказываясь от нормального, упоенного существования: *«Поэт стучит в головной мозг вселенной / И мозг вселенной течет в его уже пустые глазницы / Смысл летит сквозь него со скоростью света / Но уже никто не замечает / Среди звезд его могилу».*

Нуприянов, нарушая физические и логические законы, как и положено демиургу, тут же создает собственные. Он сталкивает внутри текста несовместимые на первый взгляд объекты, находит ускользающие, неочевидные связи, создает хаос, в котором заново обнаруживает порядок. Иисуса в космосе вот-вот прибудут к Южному Кресту гвоздями звезд, яблоно Евы приравнивается к яблоку Ньютона, из Гете можно извлечь квадратный корень, а руки Венеры Милосской уже много столетий, отделенные от идеального тела, живут неидеальной жизнью, стирая белье и нянча детей. В его мире постоянно происходят подобные события, *«от которых рушатся колонки газет / которые не предвидены законами / всемирного тяготения / постоянства состава / грамматики / исключенного третьего / единства борьбы и противоположностей / Законом Божьим / происходят / решающие события / постарайтесь / не пропустить».* Но чтобы не пропустить такие события, увидеть эти необычные связи, надо быть чутким, умным, начитанным, равнодушным человеком. Чтобы гармонично чувствовать себя в нуприяновской вселенной, не помещает и своеобразное, изысканное, окрашенное в мрачные тона чувство юмора:

*Дети стали рождаться
С ружьями вместо рук
Детские коляски напоминают тачанки
Родители выкачивают детей на свежий воздух*

*Младенцы то и дело постреливают
В случайных прохожих*

*Средства массовой информации
Ведут бесконечные ток-шоу на тему
Что кончится раньше
Патроны у детишек
Или случайные прохожие*

*А дети растут
И случайностей все меньше*

Мощный голос и уникальный тембр Нуприянова позволяют ему говорить о самом банальном и сложном так, чтобы удивить, заставить по-новому взглянуть в лицо старой проблемы. Например, о смерти: «но он, к сожа- лению, / уже не имеет никакого отношения к звездам / и принадлежит скорее / опавшим листьям, глине, / яркой траве / грядущего / лета». О любви: «Теперь мы все время / дети / друг другу / Пока мы растем / друг вслед за другом / мы никогда не состаримся». О поэзии: «Стихи – / подсолнухи / подстроч- ники / солнца / стихи – / снежинки / для заждавшихся / снега / стихи – / подснежники / для уставших / от зим / стихи – / деревья / в тени которых / светло». О звездах: «Звезды в небе / переходят / из спектрального класса / в класс <...> Да будут благословенны / те световые годы / когда каждая звезда / учится / чтобы стать / солнцем».

Поэтический мир Нуприянова — многогранный, разный, меняющийся, живой и, несмотря на едность и сарказм, очень добрый. Прямолинейность и мрачность, неутешительные размышления об амбивалентности челове- ческой природы, склонной к несправедливости, эгоизму и равнодушию, уравниваются простой мыслью о том, что все мы похожи, каждый из нас и червь, и бог, и каждую секунду мы делаем выбор: «о чем бы / ни вспоминал живущий / после заката – / близится время рассвета». А это означает, что каждая секунда оставляет нам надежду, открывает дверь к вере, любви и мудрости, к очищению от суеты вещей. Поэзия Нуприянова — это свер- нающая звездами тьма, вертикаль, лифт, поднимающий душу в самую высь, к вечности, и возвращающий обратно, к себе:

*Хорошо быть дверью для всех
кто хочет войти
поскрипывать
но открываться
И окном
в котором не гаснет свет
для всех кто думает:
«поздно»*





ДМИТРИЙ
ВОДЕННИКОВ,
СТР. 38

НАТАЛЬЯ
КАЛИННИКОВА,
СТР. 92

